



Б. ГОРБАТОВ

БОЛЬШАЯ ВОДА

Б. ГОРБАТОВ

БОЛЬШАЯ ВОДА



ОГИЗ

—————

*Государственное издательство
художественной литературы*

1948

Иллюстрации и обложка
художника Л. Короткова



РОДЫ НА ОГУРЕЧНОЙ ЗЕМЛЕ

На Огуречной Земле случилось несчастье. Огуречная Земля — далекий, уединенный островок в Полярном море, но напрасно вы будете искать его на карте под таким названием. На карте у этой крошечной точки есть свое, вполне благозвучное и даже поэтическое имя. Но полярные радисты упрямо зовут ее Огуречной Землей, и попробуйте-ка разубедить их! Это такой народ, радисты! Пересмешники. Скучно им в своих рубках, что ли?

Впрочем, странное это название имеет свою историю. Островок открыли недавно, совсем недавно, и начальник партии лихо и наспех произведя съемку вновь открытой земли (его торопили льды, убедительно смыкавшиеся вокруг ледокола), тут же составил донесение, в котором писал: «Вновь открытый остров имеет форму огурца». И радисты, — а через их руки неминуемо проходит все, — окрестили нового гражданина семьи полярных островов «Огуречной Землей».

Островок вскоре приобрел немалое значение, — он был так далек! Исследователи потирали руки: теперь-то мы доберемся до многих тайн Ледовитого моря. Синоптики облегченно вздохнули: еще одна печь появилась на кухне погоды. Молодые полярники мечтали об Огуречной Земле, как о невесте. Им грезилась несказанные ее

прелести, и не было таких подвигов, на которые не пошли бы они, только бы ее завоевать. Они презрительно говорили: «Что Диксон, Тикси, Челюскин? Это уж освоено. Это все равно, что дома. А там...» И волнуящим топотом прибавляли: «Шутка ли? Семьдесят восьмой градус...»

Итак, земля, имеющая форму огурца, стала обитаемой. На нетронутom снегу, рядом с большими, круглыми, как чаша, следами медведя появились острые, напористые человеческие следы. Возникли здания. В торосах родилась жизнь. И были уже у людей свои будни, и кипел кофе в медном начищенном кофейнике, и свои радости, и вечерние часы за шахматной доской, и свои заботы, волнения... И вот было уже и свое несчастье. Или скорее — счастье. Ну да, счастье!.. Впрочем, ничего еще не было известно, — как все обернется. Дело в том, что женщина кричала страшным, нечеловеческим криком, а бледный толстый мужчина стоял над ней, и его руки беспомощно тряслись, а по лбу катились тяжелые круглые капли пота.

Тот очень ошибается, кто думает, что в Советской Арктике на далеких островах люди живут уединенно, ничего не зная о своем ближайшем соседе. Правда, от соседа к соседу, от острова до острова подчас тысячи километров — и каких километров! Но радисты! И благодаря им вся Арктика знала, что на далекой Огуречной Земле женщина в муках рождает нового гражданина. И вся Арктика, затаив дыхание, с таким вниманием следила за исходом этих родов, словно все они, эти хмурые, мужественные люди, горняки Нордвика, ученые Челюскина, радисты Диксона, строители порта Тикси, зимовщики Белого, стояли, стараясь не кашлянуть, не шелохнуться, у кровати роженицы и ждали появления на свет ребенка, чтобы услышать его первый требовательный крик и ласково, отечески ему улыбнуться.

— Ну, как? Ну, как? — спрашивали и утром, и в полдень, и вечером со всех зимовок.

Но женщина кричала, и казалось, ее стоны слышны во всей Арктике. Муж ее, беспомощный, как и все мужчины в таких случаях, только плакал над нею, а доктор ничего не мог сделать, суетился и нервничал. Бедняга, он

не был акушером, а случай выдался исключительный — поперечное положение плода.

Отчаянную радиограмму с Огуречной Земли приняли в этот день на радиоузле.

«Спасите! Спасите! — радировал муж роженицы. — Сделайте что можно тчк Спасите мать зпт ребенка».

Что можно было сделать? Радист, принявший радиограмму, страдальчески сморщился, снял наушники и пошел к начальнику. Что можно сделать? Ведь женщина... Ведь ребенок...

Начальник и парторг задумались. Как помочь роженице? Лететь туда: не на чем. На зимовке — ни одного самолета. Зима. Полярная ночь. Разве доедешь? Парторг нахмурился и пошел в больницу к доктору.

Доктора звали Сергеем Матвеевичем. Что сказать о нем? То был обыкновенный врач, из тех, которых ничем уже не удивишь, не расстроишь и не испугаешь. И внешность у Сергея Матвеича была обыкновеннейшая: брюшко в меру, руки красные, большие, настоящие руки резника-хирурга; голос — жирный, благодушный; лысинка — благообразная, покрытая реденькой прядью; очки — в черном футляре; одежда, руки — все пахнет карболкой, лекарствами, больницей, — одним словом, партикулярная внешность врача. Так что, когда встретишь Сергея Матвеича в кают-компании в форменной тужурке с якорями, невольно подумаешь: «Отчего он не в халате?»

Одно было необыкновенно в докторе: уж очень он был... обыкновенен для арктического врача. Все-таки арктический врач — это, как хотите, фигура романтическая. Взгляните на карту. Среди имен полярных исследователей, память о которых нам хранит красноречивая карта, найдете вы имена врачей: остров доктора Старокадомского, мыс доктора Исаченко. На Диксоне вам покажут могилу фельдшера Владимирова, скромного северного героя, и вы с почтением поклонитесь знаку на могиле из серого плавника. На острове Врангеля вы уже сами первым делом станете искать могилу доктора Вульфсона, героя, самоотверженно погибшего в борьбе с врагом народа, проникшим в Арктику.

Но в Сергее Матвеиче до обиды не было ничего романтического. Обыкновенный прозаический врач. Не был он похож и на бравых корабельных врачей, привыкших

к льдам, штормам, к качающейся палубе, к консервному пайку и к запаху океанской соли. Но, может быть, он был врач-исследователь, врач-ученый?

В последнее время в Арктику охотно едут ученые медики. Они и биологи, и зоологи немного, и ботаники. Одни собирают рачков, любопытных земноводных, ящериц и увозят эти трофеи в спирту на материк; другие распластывают на листе гербария карликовую иву, которая вся — с корнями и «кроной» — умещается на ладони; третьи изучают заболевания в условиях Арктики, поведение людей, психику, возможности инфекции, влияние полярной ночи и полярного дня на человека...

Но Сергей Матвейч не заспиртовывал рачков, не засушивал лишайников и, кажется, даже не записывал в дневник «любопытные фактики из врачебной практики». Он, впрочем, кое-что попробовал было сделать, да времени... времени не было. Больные. Заботы. Больница. По всему было видно, что его зимовка не обогатит науку новыми открытиями.

Еще на корабле молодой магнитолог Модоров, один из тех бескорыстных энтузиастов науки, которые особенно тепло раскрываются именно на зимовках, подошел к врачу и, весело улыбаясь, сказал ему:

— А я понимаю вас. И ваш взгляд на всех нас, зимовщиков, понимаю. Вы ведь на нас смотрите, как на кроликов. Будете изучать нас, так ведь? Щупать пульс до и после аврала, слушать сердце во время полярной ночи и после нее. И потом напишете, конечно, научную работу? Так? Ну, так, что ли? Я рад, доктор, служить вам кроликом.

Сергей Матвейч испуганно посмотрел на него, смутился и ответил, что да, конечно, он кое-что, батенька, этакое затеял, но при этом он так неопределенно щелкнул пальцами, что и Модоров и все остальные «кролики» больше не спрашивали Сергея Матвейча о научной работе. Было похоже на то, что он приехал сюда с единственной целью: лечить людей, буде они заболеют, принимать у рожениц ребят, рвать зубы и вырезать аппендиксы.

Для всего этого ему нужна была больница, ибо врач без больницы — «это, батенька, Колумб без корабля». И больница ему была нужна не какая-нибудь, а вполне

благоустроенная, потому что Арктика там или не Арктика, а если человек заболит, то надо, чтобы лечили его по-настоящему. Поэтому он сам при разгрузке баржи таскал на своей спине ящики с оборудованием и, если ему помогали, сердито кричал:

— Осторожнее, осторожнее! Не разбейте!

Он сам и строгал и пилил, мастерил какие-то полочки, суетился около плотников, сам выкрасил белой масляной краской стены, покрыл линолеумом пол. Людей было мало, а дел у всех много. Строился радицентр, гремели взрывы в порту: строилась угольная база. То был тысяча девятьсот тридцать четвертый год — исторический для Арктики, когда, словно по волшебству, возникали на пустынных берегах Ледовитого океана среди диабазовых скал здания, порты, мастерские, шахты.

Возникла и больница. Она была маленькая, на пять коек, но этого было вполне достаточно. И все в ней было, как в настоящих больницах, в которых поседел, полысел и пропитался запахом иода и карболки Сергей Матвейч. Так же поблескивали маслом белые стены, так же играло солнце на никеле инструментария, на склянках с этикетками в стеклянном шкафу. И чистота. И тишина. И запах карболки.

Появились и больные. Все больше женщины. Из отдаленных промысловых избушек, за сотни километров, на собаках приезжали они сюда загодя, за месяц, за два до «срока», и жили на зимовке. Приезжали и мужчины — с грыжей, с аппендицитом, с отмороженными пальцами, с увечьями, с больными зубами. Он лечил, и зубы и даже пломбировал их; и многие, не успевшие на материке починить свои зубы, сделали это у Сергея Матвейча. Но чаще всего он говорил:

— Эх, батенька. Ну, к чему вам этот дрянной зуб? Давайте-ка мы его... того...

А перед тем как выдергивать зуб, он выдавал больному для храбрости тридцать граммов спирта. Это было традицией. Но потом Сергей Матвейч заметил, что его стали обманывать. Спирт выпьют, а зуб рвать не дают. «Знаете, — говорят, — доктор, а зубу-то легче стало. Давайте-ка в следующий раз». И с тех пор он выдавал спирт только после операции.

Как хирург по профессии и по складу души, он всег-

да предпочитал хирургические меры и даже, как смеялись на зимовке, оживлялся, если предстояло кого-нибудь «порезать».

— Мы, батенька, вас сейчас почируем немного, и легче вам будет. Ну, вот! Вот и отчикали. Вот ваша болячка.

К внутренним же болезням он относился подозрительно.

— Это там всякая терапия, паньска хвороба. К чему вам этим болеть, батенька? Этакая дрянь! — И утешая: — Предоставьте это природе... Природа — она мудрее. Все рассосется... Климат здесь чудесный... Здоровый климат-с!

И было уж так заведено, что каждый день во время обеда кто-нибудь громко, через стол, говорил:

— Доктор, у меня что-то голова сегодня болит. Рассосется?

— Рассосется, батенька, рассосется, — убежденно отвечал он.

Таков был Сергей Матвейч, наш обыкновеннейший доктор. И если было в нем что-либо непонятное, то только — зачем он поехал в Арктику?

Собственно, Арктики он так и не видел. Больница, кают-компания, квартиры зимовщиков, больница... Собирался было на охоту сходить, да не собрался. Думал было промысловые избушки объехать, да не на кого было больницу оставить — все роды (удивительно много стали рожать в Арктике), и по промыслам поехал фельдшер. Один раз только, осенью, во время хода белухи, увязался доктор с молодежью на промысел, но только мешал всем, промок, чуть было сеть не упустил и, мокрый, но очень довольный, вылез на берег. Зато, когда белухи были уже на берегу, он, окруженный чуть ли не всем населением зимовки, стал ножом разделять морского зверя («смотреть, нет ли у белухи аппендицита», — смеялась молодежь). Опытной рукой он вскрывал внутренности и показывал собравшимся легкие зверя, желудок: «Все, знаете, батенька, довольно похоже на человеческие органы».

Однажды, после вечернего кофе, когда в кают-компании было как-то по-особенному тепло и уютно, магнитолог Модоров подсел к доктору:

— Вы не обидитесь, Сергей Матвейч? Скажите: зачем вы поехали в Арктику?
Сергей Матвейч смутился и развел руками:

— Как вам сказать, батенька, — пробормотал он. — Кругом говорят: Арктика, Арктика... Думаю, дай-ка и я. Ведь не стар. Как находите: ведь не стар еще? — он молодежато подкрутил усы. — Потом в больнице у нас знаете, врач появился. Только что с севера. Восторженный этакий. Большое поле, говорит. Интересные случаи... Отчего же не послужить? Я и на фронте был... Всяко бывало... И потом, — он поднял на собеседника свои честные голубоватые глаза и прибавил просто:— И потом — материальные условия очень хороши. Два года прозимую — ведь это, батенька, капитал. Домик мыслю себе купить под Москвой. Знаете, этак садик... гамачок... клумбы... Обожаю настурции. И еще — ночную фиалку под окном...

После этой беседы доктор показался всем еще более скучным и прозаичным.

Но какой бы он ни был, будничный и прозаичный, вот такой, каков он есть, — с большими красными руками, с брюшком под халатом, с запахом карболки и иода, — он был все-таки единственным человеком на зимовке, который мог бы помочь женщине, рожавшей на Огуречной Земле, хотя было и не ясно, как он сможет это сделать.

Парторг зимовки, дядя Вася, пришел к доктору в больницу и уединился с ним в кабинете.

— Надо помочь, — сказал он, поднимая на доктора усталые глаза.

— Позвольте, позвольте, батенька! — удивился Сергей Матвейч. — Вы говорите, помочь. Давайте-ка сюда вашу больную. Пожалуйста. Но ведь не могу же я принимать роды, которые, извините... находятся э-э-э... где-то в пространстве.

— Но надо помочь, доктор, — настойчиво повторил парторг.

— Нет. Это чудесно, право! — рассмеялся доктор и даже всплеснул руками. — Дайте мне руки длиною в тысячу километров, чтоб я мог протянуть их... э... к ложу больной. Дайте мне, батенька, глаза-телескопы... э... э... чтоб увидеть за тысячу километров, и я готов-с, готов.

– Мы вам дадим такие руки и такие глаза, доктор, — сказал парторг. — И тогда...

– Я вас не понимаю, батенька... Какие руки? Какие глаза?

– Радио. Вам будут говорить о состоянии больной и, как это, о положении плода, а вы будете руководить.

Опешивший Сергей Матвеич долго и молча, смотрел на парторга.

– Вы как это... серьезно? — наконец осведомился он шопотом.

– Вполне. Иного выхода нет.

Сергей Матвеич встал, надел халат и решительно направился к двери.

– Идемте к больной, — сказал он. Потом остановился.— Впрочем, зачем же халат? Ну, все равно. Экие странные вещи, батенька, на свете. Первый случай в моей практике... э... заочные роды. Роды по радио. Представляю, как удивятся мои коллеги... Ну, все равно. Идемте.

Огуречная Земля была вызвана к аппарату. Диспетчер объявил всем полярным станциям: «Ввиду того, что радиоузел будет все время работать с Огуречной Землей, связь с остальными станциями временно прекращается до... до исхода родов».

Все замерли. Тихо стало в эфире. Затаив дыхание, следила Арктика за родами на далекой Огуречной Земле. Сергей Матвеич подошел к аппарату.

– Ну-с, — произнес он, заложив руки за пояс халата, и растерялся.

Он чуть было не спросил по привычке: «Ну-с, как вы себя чувствуете, больная?», но вспомнил, что, собственно, никакой больной перед ним нет. Пустота. Эфир. Некоторым образом... э... пространство.

Он был явно не в своей тарелке. Не было привычной рабочей обстановки, той, которая давала ему необходимое спокойствие. Он должен был видеть роженицу, слышать ее стоны, мольбы, привычно сочувствовать ее мукам, видеть кровь в тазу, ощупывать своими руками плод — это маленькое скользкое, беспомощное тельце.

Ничего этого не было сейчас. И он чувствовал себя, как старый солдат, который спокоен под пулями, но пугается зловещей, недоброй тишины засады, как мельник,



который может мирно дремать под шум жерновов и просыпается от тишины.

Здесь, на радиостанции, он был, как белуха на берегу. Ровным светом горели лампы. Потрескивало что-то г. репродукторе. И тишина. И ни больной, ни стонов, ни мук.

Ни мук? Но она мучится там... в пространстве. Очень мучится... и ждет помощи. И все вокруг ждут. Что же, доктор, Сергей Матвеич, ну-ка?

Он наклонился к радисту и сказал:

– Э... батенька... спросите доктора: а в каком положении сейчас плод?

И с любопытством посмотрел, как его слова, словно горох, рассыпались точками и тире и понеслись в эфир. Через несколько минут был уж и ответ.

Сергей Матвейч прочел его и сморщил лоб. Так началась эта необыкновенная, «заочная консультация».

— Плод в поперечном положении, — размышлял вслух доктор. — Да-да... Случай! Спросите-ка, — обратился он к радисту, — у моего коллеги, знает ли он, хоть понаслышке, поворот плода па методу Бракстон-Хигстона.

«Э, да откуда ему знать? Молодой человек. И терапевт к тому же», — размышлял он сам с собой.

Терапевт! Как все хирурги, он относился к ним с легким недоверием.

Ответ пришел, какого и ждал Сергей Матвейч. «Понаслышке знаю, но прошу во всем, без стеснения, руководить мной».

— Вымойте руки спиртом и иодом. Все пальцы смажьте иодом. Минут десять мойте, батенька, — продиктовал доктор, и радист, послушно и словно священнодействуя, передал все, и «батеньку» в том числе. Кто его знает, может быть и в этом «батеньке» есть свой медицинский смысл?

Доктор Огуречной Земли почтительно сообщил, что; руки вымыты.

— Так! — удовлетворенно кивнул головой доктор.— Теперь асептика женщины. — Он подробно написал на бумажке инструкцию и передал радисту. И снова любопытствуя и удивляясь, смотрел, как его слова, мысли, те, что еще минуту назад находились в его мозгу, сейчас чудодейственной силой переносятся за тысячу километров. И он впервые с уважением посмотрел на радиста.

Радист, ощущая важность момента, даже напряжился весь и покраснел от натуги. Он отчетливо выстукивал каждую букву, боясь ошибиться. Принимая отчет с Огуречной Земли, он записывал его медленно, без той лихости телеграфиста, какой хвастался всегда. Он просил:

— Давай медленнее. Ведь тут букву изменишь, а ребенку и роженице повредишь.

— Ну-с, — сказал доктор, — теперь сделайте внутреннее исследование. Введите левую руку...

Вот он надвигается, решающий момент.

«Ах, отчего я не там? Ведь это что ж... Ведь не могу же я отвечать, батенька, за то, чего не вижу даже».

Ожидая ответа и непривычно волнуясь, он, чтобы успокоиться, отошел к окну и стал глядеть на улицу. На улицу? Была ли здесь улица? Сугроб снега под окном. Дальше амбар, бухта, а еще дальше — снег, снег, только снег. На крышах складов снег, на бухте снег, в тундре снег. Зеленоватый. Луна.

«Ах, и далеконочко же ты забрался, Сергей Матвейч!» — вдруг подумал он и удивился даже, что так далеко забрался, словно эта мысль впервые пришла ему, словно он не второй год зимует здесь, а только первый день.

— Сергей Матвейч! — позвал его кто-то шопотом.

Он оглянулся. Перед ним стояли две женщины: жена радиста и жена геофизика.

— Голубчик, Сергей Матвейч, ну как? — волнуясь, спросила более смелая жена радиста.

— Что — как? — рассердился доктор. — Вы у мужа спросите, Марья Ильинишна. Он вот у радио колдует. Он лучше меня знает. А я не вижу... ничего не вижу... Снег-с.

— Мы хотели только... — смутилась жена геофизика. — Видите, у меня подруга была. Так, знаете, она рожала, и такой же случай. Я все подробности знаю... может быть, вам пригодится? Я расскажу.

— Ох, голубушка! — поморщился доктор. — Вам-то что? Не подруга же ваша рождает. Вы-то чего?

— Как — чего? — удивилась женщина. — Это даже обидно, Сергей Матвейч.

Но радист в это время подал ответ с Огуречной Земли. Хороший это ответ или плохой, он не знал. Он ничего не понимал в медицинских терминах, но уже заранее волновался, как будто знал, что ответ плохой.

— Ага! — прочел доктор и улыбнулся. — Открытие дна с половиной пальца. Ну, что ж, голубушка? Будем делать поворот по методу Бракстон-Хигстона.

Он подошел к аппарату. Ему торопливо подвинули стул. Все как-то сразу поняли, что наступил, наконец, решительный момент. Радист побледнел. Парторг прохрипел: «Тише», хотя и без того тихо, удивительно тихо было и комнате, где столпилось столько людей. Все замерли. Все с надеждой, с тревогой, с беспокойством глядели на доктора.

У него мелькнула мысль: «Откуда у меня такая смелость? И такая власть. Вот я сейчас скажу, и он там все сделает... И, может быть, все будет благополучно. И это я... я...»

Он произнес:

— Введите два пальца правой руки и старайтесь поймать ножку ребенка.

Застучал ключ, рассыпались в эфире точки, тире, и больше уже не было у доктора посторонних мыслей. Он видел перед собой роженицу.

— Да не ошибитесь! — закричал он (радист послушно, постукивал). — Не спутайте ножку с ручкой. Найдите пятку. Пяточку, батенька. И зафиксируйте. А то еще за руку потянете. Это бывает.

На Огуречной Земле возле радиста так же сгрудились в тревоге люди. Муж роженицы, потный, всклокоченный бегал от аппарата к постели больной и обратно. Он передавал доктору радиogramму, выслушав ответ, бежал обратно к аппарату, шепча про себя слова доктора, боясь забыть их и перепутать.

Доктор был взволнован, но поддержка Сергея Матвеича его ободряла. Он видел устремленные на него, налитые слезами и страданием глаза роженицы.

— Ничего, ничего, — бормотал он. — Мы с Сергеем Матвеичем поможем вам... Ничего... Вот и пятка... Какая нежная...

«Захватил ножку», — пришла радиogramма Сергею Матвеичу.

— Ага, — произнес он. — Захватил ножку. Молодец

И по комнате прошелестело приглушенное, радостное:

«Захватил ножку. Захватил ножку». Все задвигались, заулыбались, готовы были поздравлять друг друга. Но лицо Сергея Матвеича уже снова было хмурым, и все стихли.

— Так, — произнес он. — Теперь поворачивайте за ножку, а другой рукой...

Он забыл уже о пространстве. Он словно стоял у постели роженицы и отрывисто бросал указания ассистенту «А он молодец, молодец! — думал он при этом об ассистенте. — Хоть и терапевт, а прямо хоть куда. Молодец», И в нем уже росла уверенность, что все будет благополучно. И ему уже казалось, что он и раньше был

уверен в полном успехе. Это пришло, наконец, рабочее спокойствие. Он снова был в привычной обстановке.

Проходили минуты, казавшиеся всем вечностью. Уже час сидел Сергей Матвейч у аппарата.

«Все ли я предусмотрел? Каких ждать сюрпризов? Справится ли терапевт? Ах, отчего я не там. Все ли я спросил?»

Он устремил взгляд на репродуктор, словно от него мог услышать ответ. И услышал: точки, тире, точки, тире... китайская грамота. Он заглянул через плечо радиста на бланк.

— По-во-рот, — читал он, следя за каракулями, — про-из-веден бла-го-по-...

— Благополучно! — закричал, не выдержав, радист.

— Благополучно, благополучно, — всполошились все в комнате. — Доктор! Сергей Матвейч! Голубчик!

— Следите за сердцебиением ребенка, — закричал доктор сердито.

Это он на себя рассердился за то, что сам обрадовался радиограмме, как студент-первокурсник, как куратор на первой операции.

«Стыдно! Стыдно-с, врач! Срам-с!»

— Следите за сердцебиением ребенка, — крикнул он опять радисту, и тот, спохватившись, начал послушно выстукивать.

— Еще не родила. Да-с. Рано, батенька, рано,— произнес Сергей Матвейч укоризненно, обращаясь ко всем. И снова в комнате воцарилась тишина. — Рано, — пробормотал он уже тише и устался в репродуктор.

И вдруг он почувствовал, что страстно, до боли, до неистовства, желает, чтоб ребенок родился живым. Живым, живым — и мальчиком! Кудрявым таким... Он мечтал о нем, как будто был его отцом... Женщина спасена, но ребенок, ребенок...

— Следите за сердцебиением. Внимательно следите за сердцебиением!

— Сердцебиение отчетливое, ясное, — услышал он слова радиста.

Нет, нет, не слова радиста. Это он услышал биение сердца ребенка, еще находившегося в, утробе матери. Это билось сердце человека, еще не появившегося на свет. Но человек сейчас появится и ликующе закричит, утверждая

свои права. Какое у него будет сердце! Сердце человека, самую жизнью своей обязанного родине, — вот этим радистам, этому парторгу с трубкой, этому доктору-терапевту (а он молодец, молодец!) и... и... да и ему, Сергею Матвейчу. И он засмеялся. Засмеялся так, как никогда еще не смеялся. И не торжество, не гордость, не удовлетворение были в его смехе. Было что-то такое, чего он и сам еще не понимал.

Начались схватки. С Огуречной Земли теперь летела радиограмма за радиограммой. Доктор кратко сообщал о состоянии роженицы, о том, как проходят схватки, а муж роженицы от себя прибавлял: «Ужасно мучится... ох, как это ужасно! Кричит криком... нечеловечески... Что делать? Что делать, доктор? Как она мучится, бедная! Сделайте что-нибудь. Я не вынесу этих криков!»

И казалось: и здесь, у репродуктора, слышны были нечеловеческие стоны рожавшей женщины. Сергей Матвейч оглянулся и увидел бледное лицо парторга, стиснувшего зубами свою трубку.

— Ну, а вы что? Вы что, батенька? Что это с вами? Ведь не ваша же жена рожает.

— Это верно, — слабо улыбнулся парторг, — не моя. Но ведь и женщина, и ребенок, как бы вам сказать... наши.

Сергей Матвейч смутился и рассердился на себя за свой дурацкий вопрос, за то, что не понял чувств парторга и, может быть, обидел его. Но некогда, некогда было думать об этом. Следите за сердцебиением ребенка!

...Уже три часа прошло. Три часа назад он сел к аппарату и сейчас чувствовал себя необычайно уставшим, измученным, словно вымолоченным. Скоро ли, скоро ли это все кончится, эти необыкновенные роды по радио?

И вдруг он услышал, как радист вскрикнул, радостно, ликуя:

— Сын! Сын! Вот! Сын! — Он протянул Сергею Матвейчу радиограмму, и тот прочел:

«Доктор, товарищи, родные! У меня родился сын, сын, мальчик. Спасибо, спасибо вам всем за все! Сергей Матвейч! Спасибо, спасибо вам, родной вы человек. Спасибо!»

Со всех сторон тянулись к Сергею Матвейчу руки. Горячие, дружеские, взволнованные. Его поздравляли, им восхищались, его благодарили. Парторг долго тряс ему руку и улыбался, приговаривая:

— Ах, Сергей Матвейч!.. Ну, и человечище вы! Ну, и чудесно!.. И поздравляю... Вы действовали, как... как... как большевик, Сергей Матвейч!

А он сидел, растерявшийся и сразу обмякший; смотрел, ничего не понимая; читал радиogramму и не понимал ее; слушал поздравления и не понимал их. Он растерялся.

Хирург, он потерял спокойствие.

Вдруг представилась ему в новом, неожиданном свете вся его жизнь, и сам он, и его профессия, и студенческие мечты, и все, что он делал, делает и может сделать.

Неужто это он вчера мечтал о спокойной старости, о домике — как, бишь, батенька: с настурциями и ночной фиалкой под окном.

1937 г.





Большая вода

В полярном году есть один, в буквальном смысле слова непутевый месяц.

Это какой бы вы думали? Это... июль. Точнее: с 20 июня по 20 июля. Именно в эту пору Диксон становится островом.

Пароходы еще не ходят, самолеты уже не летают, собаки не бегают. Словом, в июле люди сидят по домам и ждут. Июль — месяц полного бездорожья, но зато й предчувствия больших дорог.

Удивляться не следует: в полярном календаре все наоборот. Здесь самый солнечный месяц апрель, а самый ненастный — август; здесь в октябре уже зима, а весна, робкая и измученная дальней дорогой, добредает сюда лишь в конце июня. И июль здесь — перевальный месяц, гребень года, месяц больших ожиданий и неясных тревог.

Именно в эту пору дядя Терень с Восточного берега надевает высокие белые сапоги из белужьей кожи, жирно мажет их ворванью, берет ружье, палку и табак, вскидывает на спину походный мешок и трогается в путь-дорогу.

Куда ты собрался, дядя Терень? — удивленно встречает его сосед по промыслу, молодой парень, зимующий по первому году. — Да кто же в такую погоду ходит?

Я хожу, — просто отвечает дядя Терень, — тринадцатый год хожу.

- Куда же ты идешь, дядя Терень?

— А на Диксон.

— С ума ты сошел, старик! Полтора ста километров! Оставайся дома. Скоро пароходы пойдут.

— Мил человек, — удивляется дядя Терень, — как же Мне не итти? Я не пойду, кто же пойдет тогда?

— Да итти-то зачем?

— Итти надо, чудак человек! Я, брат, всю жизнь хожу. И в деревне, бывало, ходил. Кто же другой пойдет?— бормочет он, нетерпеливо поглядывая на дорогу. Ему скучно все это объяснять. — Почты, не будет ли какой до Диксона? — спрашивает он, оживляясь. — Так я возьму, да и пойду, пожалуй.

— Почты? — конфузится сосед. — Нет, что уж... Ну, да коли все равно идешь, захвати падырку¹. Тисни там... — и шопотом прибавляет: — Нехай приезжает, Настя-то...

Дядя Терень усмехается, забирает радиограмму и трогается в путь.

Он идет и бормочет в усы песню, которую сам придумал:

*Долог путь до моря сизого... Эх!
Тяжеск путь до острова скалистого... Эх!
Где ты, мачта, где заветная?
Э-эх!*

В тундре — весна. Звенят большие и малые ручьи. Со стоном взламываются речушки в горах. Дрожат покрытые тонкой пленкой заморозков рябоватые озера, лужи, купили стоячей, остро пахнущей мхом и землей талой воды.

Вода всюду. Ступишь ногой в мох — и мох сочится. Тронешь мшистую кочку—и кочка сочится. Станешь робко ногой на ледок — и из-под ледка брызнет вода, тонкая, весенняя. Вся тундра сейчас — сплошное болото. Оно оживленно всхлипывает под сапогами, мягкое, податливое, покрытое желтой прошлогодней травой и нежным весенним мхом, похожим на цыплячий пух.

Весна входит в тундру робко и неуверенно. Останавливается. Оглядывается. Испуганно замирает под неждан-

¹ Падырка — письмецо (ненецк.).

ным нордом, ежится под метельным остом и все-таки идет, идет... Уже сполз в лощины снег, но еще не стаял. Уже открылись забереги, но лед еще прочен. Уже появился гусь, но еще нет комара.

Подо льдом на реке свершается невидимое глазу великое движение. Гидрологи отмечают повышение температуры и падение солености воды в заливе — верные приметы надвигающейся весны.

Но на промыслах и зимовьях Восточного берега, где гидрологов нет, самая верная примета — дядя Терень.

— Скоро быть большой воде, — радостно говорят в избах. — Уже дядя Терень пошел.

Третьего дня его видели в бухте Белужьей, вчера его песню слышали на Сопочной Карге. Он идет на двадцать дней впереди большой воды. У него свои расчеты. Ни разу еще не было, чтоб они не оправдались. Делайте заметки в календаре, высекайте топором зарубки на палке — через двадцать дней в том месте, где прошел дядя Терень, быть большой воде.

Он идет по вязкому берегу и поет:

*Гой ты, тундра пробужденная... Эх!
Ты, дорожка бездорожная... Эх!
Мои ноженьки промокише...
Э-эх!*

Кричит гусь в небе. За горой протяжно ревет олень. Пронзительно вопят чайки-мартышки. Полярные совы, важно раскинув свои великолепные весенние наряды, носятся над рекой, садятся на черные с прозеленью скалы. Шустрые лемминги со злобным писком шныряют под ногами. Выпорхнула из-под кочки жирная белая куропатка, побежала по снегу, переваливаясь с боку на бок, как купчиха.

— Эй, барыня, погоди! — крикнул ей вслед дядя Терень, не успевший скинуть с плеча централку.

Куда там! Испуганно закосолапила, взлетела — и нет ее!

А под ногами уже возятся проворные кулики — острокосые сплетники, попискивает куцехвостая пеструшка - салопница в рыжей шубейке, пробежал песец, драный, облезший... И все это — живущее и оживающее — суетится, хлопочет, кривит, звенит, поет, радуется весне. Даже лед на реке ломается с радостным звоном.

Все правильно, сроки сбываются. Дядя Терень довольно улыбается в усы.

Он подходит к бревенчатому домику под медно-красной скалой.

— Эй!— стучит он в дверь палкой. — Есть хозяин Дому сему?

И ждет ответа. В избе тихо. Из трубы струится легким унылым дымок. Сугробы подле избы начали уже таять, из них выглянули на свет ржавые консервные банки. Они, как и подснежники, появляются только весной.

— Есть живая душа в доме? Отзовись! — снова кричит старик, нетерпеливо постукивая палкой.

Дверь распахивается и на пороге появляется унылый. Лохматый парень.

— Ну, здравствуй, Арсений!

— Здравствуй! — нехотя отвечает парень, пропуская вперед гостя.

— Не ладно гостя привечаешь, — укоризненно говорит дядя Терень и сбрасывает с плеч ружье и походный меток. — Почто скучный?

Он окидывает и избу и парня внимательным, но насмешливым взглядом. На столе — ворох писем, телеграмм, фотографий; курносая бабенка, кудряшки из-под бирета; вот она же в шубке, она же в сарафане, голое плечо блестит. Вот опять она же на стене. Улыбается жеманно и застенчиво.

— Угу! — произносит дядя Терень и садится на полешко у печи.

Однако он ни о чем не спрашивает. Он все уже знает, все понял. Знает и какое поручение даст ему Арсений. Стаскивает сапоги, ставит их к печи и молчит. Ждет, глядит, как бегут по стеклу мутные ручьи. Слушает, как топят капель с крыши.

Арсений молча бродит по избе, ставит чайник на огонь, чашки, хлеб, мясо — на стол, потом тяжело опускается на табурет.

«Ну, как нынче промысел?» — надо бы спросить дяде Тереню по обычаю, но он не спрашивает. Арсений молчит, молчит и он.

— Разлюбила, — шепчет Арсений. — Ты не говори, дядя Терень, не спорь, пожалуйста...

— Я и не спорю.

— А я тебе говорю: сука она. Вот кто!

— Ты и прошлый год так говорил. Одначе ошибся.

— А теперь уж не ошибусь, нет. Две недели в этом деле разбираюсь. Все письма подобрал... Одно к одному, — бормочет Арсений. — Не ем, не пью, из избы не выхожу... все читаю... Все читаю...

— Разобрался? — насмешливо спрашивает дядя Терень.

Но Арсений не слышит насмешки.

— Вот, — говорит он, — вот. Сам гляди, старик.

Он раскладывает на столе письма. Так следователь раскладывает вещественные доказательства.

— Вот, — суетится он, — от двадцатого ноября письмо. Первое нонче. Видишь в конце: «горячо-горячо целую»? Заметил? Горячо-горячо... А вот — девятнадцатое декабря. Вот — «крепко целую»... Не горячо, старик, а только крепко... Заметил?

— Это что ж, хуже?

— А вот последняя радиограмма, майская. Читай: «целую». Просто — целую. Без никаких. А время приметил? Мая третьего. Майское дело... Закрутилась, хахала нашла. Ясно? — торжествующе спрашивает он. Горькое это торжество! — Нет, ты сам посмотри, сам... — и он тычет дяде Тереню письма.

Дядя Терень неторопливо достает из-за пазухи очки, напяливает их на нос. Глядит в письма. Действительно: от двадцатого ноября — «горячо-горячо целую», от девятнадцатого декабря — «крепко целую», а от третьего! мая — «целую» просто, без никаких.

— Ну? — тревожно спрашивает Арсений.

Какого ответа он ждет? Утешения или подтверждения злой догадки? Дядя Терень необычайно серьезно вертит в руке письма и молчит.

— Ну? — снова спрашивает Арсений.

— Это весна... — наконец произносит старик, — весна в тебе бушует, парень.

— Весна? — растерянно переспрашивает Арсений. — При чем тут весна?

На печи запел чайник. Дядя Терень ставит его на стол и принимается за еду. Арсений ничего не ест, вертит в руках письма.

Ты не спорь, не спорь... — бормочет он, — я эти

письма до дыр перечел. Я каждое слово в них перетряхнул, взвесил. Не зря ведь слово сказано. Каждое слово смысл имеет.

— Это у тебя оно нонче смысл имеет, а бабенка твоя их зря сгавит. Какое в голову придет.

Не бывает так, старик, не бывает. Слово от души пишется. Вот от двадцатого ноября письмо... Я его наизусть помню. С тяжелой душой письмо писано. Скучала по мне, видно, мучилась... — его лицо становится добрым, нежным, серые глаза голубыми.

Мучилась? Ну, вот... — поддакивает дядя Терень и смеется.

— Потом пошли письма смущенные... будто виноватые. В чем-то был ее передо мною грех. Был. А последнее письмо — вовсе легкое. Так, без души пущенное. Пишет: в кино была.

А что же, ей и в кино не ходить?

— Да писать-то мне об этом зачем? Я ведь в кино не хожу. Ходи, ходи в кино, — кричит он вдруг в дверь, видимо продолжая свой давний спор с женою. — Да пишешь-то мне об этом зачем? Сладко ль мне такое читать?

Кровь в тебе бушует, парень, — качает головой дядя Терень. — Это от одиноческой жизни. Бывает...

В печи потрескивает плавник, обуглившиеся головешки рассыпаются, в последний раз вспыхивают ярким ютом и гаснут.

— На Диксон идешь, дядя Терень? — тихо спрашивает Арсений.

— На Диксон.

Оба молчат.

— Почту возьмешь?

— Возьму.

И опять долго молчат.

— И ответа дождешься?

— Дождусь.

Дядя Терень встает и идет к койке. Расстилает тулуп, готовит постель.

— Так я напишу... дядя Терень, — нерешительно и словно виновато говорит Арсений.

— А напиши, напиши...

И, пока дядя Терень спит, Арсений сочиняет радио-

грамму. Он рвет листок за листком, грызет ручку, снова пишет. Его лицо попеременно отражает все человеческие чувства: от нежной любви до яростной злобы, от дикого отчаянья до тихой надежды.

Через четыре часа старик уже на ногах. Время дорого а путь далек. Арсений провожает. Идут молча. На берегу прощаются. Арсений крепко жмет руку дяди Тереня и, заглядывая в глаза, спрашивает:

— Так ждать?

— Жди, парень, жди...

Теперь путь дяди Тереня лежит напрямик, через: бухту.

Арсений долго еще стоит на высоком берегу и глядит как бредет по льду старик, перепрыгивает через трещины, обходит забереги, проваливается в бродный мокрый снег, падает, подымается и снова идет. Мешок подпрыгивает на его спине. В мешке телеграмма.

Наконец проклятая бухта позади. Дядя Терень выбирается на берег. Отряхивает снег со штанов, с сапог садится на кочку посуше и переводит дыхание.

Вёсны ли стали хуже или годы уже не те, только все трудней и трудней становится старику дорога.

«Еще год-два похожу, а там и на покой!» — думает он, вытирая пот со лба и с шеи.

Небо над тундрой голубое, высокое, чуть-чуть влажное — такое, как дома в апреле. Так же пахнет земля; сырая, развороченная. Так же звенит вода. Так же кричит гусь на озере. Только жаворонка нет.

Дядя Терень, кряхтя, подымается на ноги и идет.

Вот уж снова слышится песня:

*Гой ты, тундра молчаливая... Эх!
Край далекий, позаброшенный... Эх!
Где ты, мачта, где, заветная?
Э-эх!*

Он идет, выбирая места посуше. Хорошо итти галькой, хуже — вязкой, жирной глиной, совсем плохо — лощинами: под тонкой, обманчивой коркой снега — студеная вода.

И когда дядя Терень идет лощиной, он уж не смотрит

в небо. Небо — высоко. Вода — близко. Он идет осторожно, щупает снег палкой, трубка гаснет, песня смолкает. Тут, если провалишься, не выберешься, — снег рассыпчатый, ухватиться не за что.

Так идет он через лощины, подымается на холмы, бредет тундрой и выходит на узкую тропинку, протоптанную зверем. В рыжей глине — отпечатки копыт. След свежий. Он ведет на север, дяде Тереню по пути.

Старик идет по следу и думает:

«Что оленя на север гонит? Овод! А осенью с севера на юг? Голод. А что же человека сюда гонит? Ох, беспокойное творение человек!»

Оленья тропинка круто сворачивает вправо. Дяде Тереню надо бы прямо, — и ближе, и суше, — а он все идет по следу. Какой овод гонит его?

На холме он останавливается, поднимает голову и, совсем как старый, седой олень, нюхает воздух.

Пахнет влажной, сырой землей, болотом, стоячей водой, травой, перепревшей под снегом, — терпкие, ржавые запахи тундры. Ветер несет их на дядю Тереня. Только запахов зверя не слышно. Плохи у человека ноздри, зато глаза хороши.

И в лощинке, меж двух бугров, дядя Терень замечает оленя.

Очень тощий, весенний, беспокойный. Он испуганно водит головой, видно тоже принохивается. Что-то тревожит его. Но слабы глаза у оленя, — он не видит, как подпирается к нему человек с винтовкой, — зато ноздри хороши. Олень пугливо нюхает воздух. Запахи тревожные, зловещие: пахнет человеком. Олень делает испуганный скачок в сторону... Но дядя Терень уж вскинул ружье. Ветвистая голова аккуратно помещается на мушке.

Два выстрела раздаются одновременно. Олень, жалобно застонав, валится на снег, тело его судорожно дергается и затихает.

Дядя Терень не спеша идет к добыче.

Но его учреждает звонкий ребячий голос:

— Это мой олень!

Из-за скалы выбегает паренек лет тринадцати, в огромной беличьей шапке и с ружьем.

— Это мой олень! — предостерегающе кричит он и бросается к туше.

У трупa поверженного животного он останавливается и, крепко сжав руками ружье, ждет нежданного конкурента. Он весь ошетинился. Даже мех на его беличьей шапке стал дыбом.

Дядя Терень подходит ближе. Мальчик взволнованно ждет его, но, разглядев, опускает голову.

— Ваш олень, дядя Терентий! — грустно говорит он и отворачивается, чтобы скрыть недостойные охотника влажные глаза.

— А вот мы сейчас разберемся, Митяй, чей олень, — отвечает старик и наклоняется над тушей.

Он сразу находит дырочку во лбу меж рогов. Дырочка круглая, аккуратная, и дядя Терень невольно любитcя метким выстрелом.

Однако надо найти вторую дырочку, чтоб никому обиды не было. Дядя Терень старательно исследует тушу, но второй дырочки нет. Митяй взволнованно следит за ним, сердце его колотится.

— Твоя пуля, — говорит дядя Терень.

— Моя? — недоверчиво переспрашивает Митяй.

— Твоя. В твою сторону олень глядел, твоя и пуля.

— Моя? — восторженно шепчет Митяй и вдруг кричит на всю тундру: — Моя!

— Ну, с первым зверем тебя, Митяй! — торжественно поздравляет старик. — Первый ведь?

— Первый!

— Великим охотником будешь, Митяй.

Митяй не знает, куда деваться от счастья. Ему хочется быть солидным и степенным: «Ну, убил оленя, что ж тут такого?» Но чистосердечная ребячья радость так и брызжет из его глаз. Веснушки на носу сияют, как звезды.

Дядя Терень свежует оленя. Его руки в крови. Кровь теплая.

— Пей! — говорит он молодому охотнику. — Цынжать никогда не будешь.

Митяй наклоняется к надрезу на горле оленя и пьет теплую кровь. Чтоб никогда не цынжать, чтоб быть сильным, смелым, ловким охотником.

Освежевав и спрятав оленя, оба — старый и малый — идут к избе и ведут степенную беседу, как два старых охотника.

Как нынче промысел, Митяй? — спрашивает дядя Терень.

Надо бы лучше, — отвечает мальчик: не пристало охотнику хвалиться, а хаять промысел не за что.

Песец нонче не тот пошел... — объясняет он важно.

— Не тот?

— Песец нонче хитрый пошел. На кроху он уж не идет. Не то, что раньше.

— А ты помнишь, какой раньше песец был?

Митяй смущается. Отцова шапка совсем налезла на нос.

— Люди сказывали... — бормочет он.

— А может, и не ввали люди! — добродушно соглашается дядя Терень. — Человек умнеет, отчего и зверю не поумнеть. Ну, а план твой как?

— Я план, дядя Терень, весь выполнил.

— За это ты, выходит, молодец и ударник. А велик план-то?

Дядя Терень это из приличия спрашивает. Как и все люди в тундре, он слышал о промысловом договоре Митяя. Его сочинил веселый инструктор, объезжавший промыслы. Митяю дали ружье, лодку, участок и план: пять песцов. Стал Митяй заправским промышленником. И даже не столь ружьем он гордился, сколь планом.

План — пять песцов, дядя Терень! Да я еще ушкана убил. Да пятерых куропаток. И олень вот. Теперь думаю на гуся итти.

— Великий у тебя оборот, промышленник! Богач ты теперь! Куда доходы девать будешь?

— Я все тятке, — смущается Митяй. — Мне ничего не надо.

— А у тятки как с планом?

— У тятки-то? У него плохо...

Старик усмехается. Но, как ни в чем не бывало, продолжает беседу.

— А там, помнится, в плане у тебя еще пункт был. А? Сполняешь?

— Сполняю, Дядя Терень, — неуверенно отвечает мальчик. — До дробей уж дошел.

— А не врешь?

Митяй даже обижается.

— Пес врет, а я — человек. Хоть экзамен мне сделайте.

Тут уж черед дяде Тереню смущаться. Он чешет в затылке и говорит:

— Плохого ты, брат, себе профессора для экзаменов нашел. Профессор-от сам на пальцах считает. Но ты не горюй, Митя. Однако ты свое дело знай: учись. Ученым станешь. На магистраль поедешь, глядишь, и в профессора выйдешь.

— Нет, я лучше тут останусь, дядя Терень, — говорит мальчик и поднимает глаза на старика. — Хорошо тут!

— Хорошо?

Они вышли уже к избе; Она внизу, на берегу маленькой тихой бухточки. Далеко в залив вдается массивный горбатый мыс Ефремов Камень. Нынче он особенный. Не угрюмый, как осенью, не черный с проседью, словно кавказское серебро с чернью, как зимой, а дымчатый, даже чуть-чуть синий и легкий-легкий, почти бесплотный. Вокруг него — голубой прибой льдов, а дальше — неоглядная мирная снежная равнина. Снег серебряный, он тронут весной, в нем есть уже тусклость металла. В заливе тихо. Солнце спокойно играет в торосах. Дремлет тундра. Легкий дымок над избой, да стук топора. Видно, Трофимов хозяйничает. И вокруг лежит тундра, мать сыра земля. Да уж, сыра! Сырее и не бывает.

— Хорошо-о! — соглашается дядя Терень.

Они спускаются к избе. Трофимов зовет ее усадьбой.

Пожалуй, это единственное на всем восточном берегу жилье, обнесенное частоколом. К чему тут частокол, Трофимов и сам не знает. Воров не водится, бродяги перевелись, волки не забегают. Да и на землю трофимовскую никто не посягает. На десяток километров окрест он один — хозяин тундры, ее единственный обитатель и добытчик.

Но он именно этот участок у бухточки огородил, обособил. Он словно оборонился от тундры: вот здесь мое, жилое, трофимовское, а там за частоколом — уж чужое, дикий край, глухое место. И изба у него, не в пример дру-

гим, аккуратная, теплая, ладная. Он пристроил к ней завалинку, баньку вывел в стороне. Плавник напилил аккуратными брусками и сложил в штабеля. Двор изрыл канавками, чтоб весенняя вода быстрее стекала. А по двору пустил гулять гусей, — еще в прошлом году он словил двух линялых и приручил их. Они бродят по двору, словно на птичнике, и уныло гогочут. Собаки к ним привыкли.

—Хозяйственный мужик у тебя отец-то! — говорит Терень, вдыхая сладкий дым жилья, и в его голосе слышится не только одобрение, но и снисходительность, ем такая же, как у Митяя, когда он говорит об отце.

Они застают Трофимова во дворе. Он возится с топором подле нарты. Над быстро высыхающей землей двора мается теплый весенний пар. И, кажется, что Трофимов не нарту чинит, а борону ладит к весне.

— А я оленя убил, — кричит Митяй. — Сам убил. Терень видел.

—Ишь ты! — удивляется отец и, здороваясь с дядей Теретием, говорит, указывая на сына, словно извиняясь: — Охотник растет. Дикой.

Он ведет дядю Терентия показать прибыль в доме: дочку.

Дочке — три месяца. Она спит в люльке, подвешенной матице¹, и во сне сладко причмокивает губами. Люльку Трофимов смастерил сам.

Пока трофимовская хозяйка возится у печки, мужчины курят и беседуют. Разговор — хозяйственный, заводит его Трофимов. Он душевно рад, что случился собеседник, есть пред кем похвалиться планами. Планы большие: затеяно избу перестроить, баню расширить, для собак сделать новый...

— Да тебе бы города строить, Трофимов! — смеясь, перебивает дядя Терень, — какой ты охотник? Ты — человек-строитель.

— Вот и строю, — гордо улыбается Трофимов. Хозяйка ставит на стол еду.

Мужчины прячут трубки за голенища и берут ложки.

— В газетах пишут, — говорит меж борщом и жареной олениной дядя Терень, — а мне люди пересказывали,

¹Матица – центральная балка избы.

будто ученые такое удобрение придумали, что можно в тундре хлеб сеять.

— Оно хорошо-о!— оживляется Трофимов. — Земли-то тут — боже ты мой! Если ее поднять, да вспахать, да засеять... — он даже замирает в восторге, но потом, махнув ложкой, заканчивает: — Только, полагаю, врут люди. Земля насквозь мерзлая, ее удобрением не возьмешь, — и прибавляет, вздохнув: — А земли много!

После сытной еды разговор стихает. Хозяйка нянчится с дочкой, Митяй, видно, вспомнив приписочку договору, сел за книгу. Подпер кулаками щеку, читает, шевеля губами. Да нет-нет и бросит взгляд в окно, - взгляд птицы в клетке. Трофимов вышел на минутку по хозяйству, со двора доносится стук его топора.

А дядя Терень сидит у огня и задумчиво курит. В усадьбе Трофимова тепло и домовито. Пахнет щами, мокрыми пеленками и овчиной, — запахи деревенские беспокойные. И дядя Терень думает о том, что скучно бобылю жить на свете.

«Хорошо бы, вернувшись к большой воде, домой, за стать в своей избе ну — дочку, что ли... аль сына... внуков... А то вернешься домой, а изба-то и не топлена».

Такие мысли всегда приходят ему в голову, когда он гостит у Трофимова.

Ночью дядя Терень уходит дальше. По ночам итти легче, — подмерзает. Трофимов вручает ему телеграмму и просит лично проследить, чтоб передали всю. В телеграмме обстоятельно изложено, что из припасов надо завезти Трофимову на новую зиму. Список длинный.

Хозяйка набивает торбу дяди Тереня едой и просит добыть на Диксоне сгущенного молока.

Митяй идет провожать старика.

— А тебе, Митяй, чего принести? — ласково спрашивает дядя Терень.

— Книжек мне. Я свои все выучил.

— А еще чего?

— А еще... — глаза Митяя загораются, — а еще нож дядя Терень. Такой, как у вас, чтобы зверя разделывать, — и, озабоченно наморщив лоб, прибавляет: — совсем без ножа плохо, не обойдусь.

К утру дядя Терень уже далеко за Ефремовым Камнем.

Камень пришлось переваливать поверху. Сунулся старик в залив, да там, у берегов такая весенняя кутерьма, что и не пройдешь. Дядя Терень даже испугался: не ошибся ли в сроках? Весна, выходит, ранняя.

«У нас дома уж, небось, давно и отпахались, и отсеять! — умильно думает дядя Терень. — Озимь уж, поди, в трубку пошла. Какая-то весна была дома? Хорошо б дружная!»

И он вспоминает родную сторонку. По привычке, он еще говорит: у нас дома, в деревне. А в деревне, поди, никто уж и не помнит его. Кто помнил, забыл, а не знал, тому и вовсе дела нет до того, есть на свете дядя Терень или нет его.

Только дядя Терень все помнит, что губернии он Пермской, уезда Шадринского, а здесь он человек пришлый, временный, хоть и живет тринадцать лет.

Охотничьи дела и крестьянские заботы — все смешались, в дяде Терене, он и сам не знает, какие ему ближе. А тут еще с бабенкой Арсения хлопоты. И Трофимовой — молоко и Митяю — нож. Вот Митяй — уж тот свою линию знает. Он не шадринский, нет.

Так размышляя, идет дядя Терень по тундре, и каждый камень ему тут знаком, каждая дверь открыта, каждое сердце распахивается перед ним радушно и доверчиво. Он входит в чужие избы, и сразу же чужая жизнь, чужие дела и заботы становятся его делами и его заботами.

«А Митяю — нож, — думает старик, подходя к избе Жданова. — Я уж знаю, какой ему надо! Ножны из моржовой кости, а черенок черный витой».

Жданова в избе нет. В дверь воткнул охотничий нож, на ноже записка: «Дядя Терень! Олень на печи, табак на столе, чарка — сам знаешь, где. Скоро приду. Жданов».

Дядя Терень не огорчается. Он и не ждал, что в погожий, солнечный день застанет Жданова дома. Как Трофимов всегда на своей заимке, так Жданов всегда ми промысле. Дядя Терень уж привык хозяйничать в избе Жданова без хозяйки.

Жилье Жданова — убогое, холостяцкое. Только оружия много. Оно и на стенах, и на матице, и в углах.

В холодных сенях висят песцы. Дядя Терень треплет

рукой пушистые хвосты, белые с искрой, и улыбается, Теперь хоть и не приходи Жданов,— дядя Терень знает, какую радиограмму надо давать.

Так уж повелось с давних пор: входя в сени Жданова, первый взгляд дядя Терень всегда бросал в «закрома», — каков урожай пушнины? Если урожай хорош, Жданов еще на зиму останется на промысле, если же год был плохой, непромысловый, и Жданову нечем покрыть взятый аванс, — он вернется на магистраль. В должниках Жданов ходить не любит. Первоклассный механик, он уходит тогда на завод, и целый год отрабатывает свой долг. В это время он ни с кем не говорит о промысле, о тундре, — он только механик первой статьи, профессор своего дела. Но год прошел, долг покрыт, и Жданов, аккуратно завернув инструмент в тряпку, берет на заводе расчет и снова идет на промысел. Потому что не механика, а охота — профессия его души.

Вот отчего дядя Терень, заглянув в «закрома», безошибочно мог сказать: нынче Жданов на промысле останется.

Кроме песцов да оружия, в жилье Жданова смотреть нечего, и дядя Терень, найдя на печи оленину, в заветном месте — спиртишко и на столе — табак в кисете, заправляется и ложится спать. Спит крепко, без снов.

К вечеру с промысла возвращается Жданов. Согнувшись, входит в избу, ставит в угол ружье, отстегивает и бросает на пол пояс, на поясе добыча — гуси.

— Пришел, добытчик! — весело встречает его дядя Терень. — Еще не всю дичь в тундре истребил?

— Не всю, — усмехается Жданов. Улыбка у него неумелая: глаза больше смеются, чем губы.

— А то, говорят, — продолжает дядя Терень, — зверье на тебя жалобу писать собирается. Нет, говорят, жизни от Жданова.

Жданов раздевается, моется и садится за стол. Присаживается и дядя Терень, предвкушающий беседу. Потому что всякий полярник скажет: хороша чарка с морозу, баня — с дороги, но слаще всего беседа с умным человеком, за трубкой.

И старик неторопливо начинает беседу о промысле. С каждым человеком надо о главном говорить: с Трофимовым — о хозяйстве, с Арсением — о женщине, со Жда-

новым об охоте, других разговоров с ним начинать не стоит, отмолчится.

Вот уж и гусь пошел, — говорит дядя Терень, заглядывая в серые глаза Жданова. (Это — приглашение к разговору.)

Какой это гусь? — усмехается Жданов. — Это гусь несамостоятельный. Настоящего гуся еще нет.

— Пойдет скоро. В Широкой уж лед взломало...

— Да-а? — неохотно переспрашивает Жданов, и беседа угасает, так и не разгоревшись, словно костер из сырых сучьев.

Ну, что ж, с умным человеком и помолчать приятно. Оба попыхивают трубками и смотрят в огонь.

Но вот Жданов что-то бормочет себе в усы.

— Ась? — переспрашивает старик.

— Я говорю, — бурчит Жданов, не подымая головы и глядя в пол, — ты не знаешь ли, какие цветы есть на земле?

— Цветы?

— Цветы.

— Это к чему же цветы? — недоумевает дядя Терень.

— Так. Любопытствую.

— Цветы! — усмехается дядя Терень. — Ишь ты, цветы... Мил человек, да я ведь тринадцать лет ни единого цвета не видел.

— Вот и я — хоть и видел, а ни к чему было, и я не упомянул.

— Цветы, — крутит головой дядя Терень, а сам спешно соображает: «Зачем это Жданову понадобились цветы? Не зря спрошено, не таков человек».

— Цветы, — говорит он меж тем, — цветы всякие есть. Вот есть цветок роза. Так и звание у нее — королева цветов. Еще фиалка, Иван-да-Марья тоже есть. Это наш цветок, деревенский.

— А еще?

— Еще? Что ж еще? Петунья цветок бывает. Опять же ландыш. Бывало, пойдешь в лес, а уж он, мил друг, колокольчик-то из-под елки и кажется, и кажется. Словно звенит.

— Нет, это не то...

— Не то? Ну, тогда василек, он на венки девкам идет. Ромашка. Потом роза...

– Розу ты уж говорил.

– Говорил? Ишь ты! Ну, левкой, резеда, тюльпан. Важный цвет — тюльпан. Он на грядке, точно исправник, надутый, спесивый.

– Пион еще, — говорит Жданов. — Помню, цветок был такой — пион. Алый.

Георгины еще есть, астры, розы.

– Розу я говорил...

– А, да. Хорош цветок роза?

– Хорош. Да к чему тебе-то?

– Нет, это я так.

Он умолкает. Теперь уж молчит прочно.

Дядя Терень собирается в дорогу. Жданов пишет телеграмму.

– Хороши песцы у тебя нонче, Жданов, — говорит дядя Терень таким тоном, как говорят: «хороши огурцы у тебя нонче, Жданов». — Полагаю так, что первого сорта? та не меньше половины, а?

Но Жданов молчит и пишет.

— Хорош был год, — продолжает дядя Терень, переобуваясь. — Каков-то будущий год? Год на год не приходится. У тебя как капканы, ничего? Ремонту не требуется?

Жданов поднимает голову и говорит, не глядя на дядю Тереня:

– Уезжаю я...

– Что?

Дядя Терень опускает сапог.

– Как? — переспрашивает он почему-то шопотом.

Жданов протягивает ему телеграммы.

Их три: две в контору, в них сообщается о желании Жданова уехать с промысла, третья — в Москву.

«Тресту зеленого строительства, — читает заголовок дядя Терень. — Прошу пятого июля послать корзину роз стоимостью сто рублей адресу Арбат 32 квартира 8 Татьяне Логиновой Деньги вам переведены конторой Таймыру треста. Охотник Жданов».

Дядя Терень долго смотрит в телеграмму. Жданов стоит подле него. Оба молчат: Жданов — смущенно, дядя Терень — укоризненно.

Что ж, ответа ждать? — наконец спрашивает дядя Терень.

Нет, — тихо отвечает Жданов.
Потом, качая, головой, прибавляет еще тише:
— Ответа не будет.

«Что ж это делается, люди добрые? — растерянно думает дядя Терень, бредя по тундре. — Что ж это делается на земле? Жданов бабе цветы шлет!»

Совсем сбитый с толку, он идет вдоль русла реки и размышляет:

« Кто эта Логинова? Жена Жданову или знакомая? Отчего же ответа не ждать? Отчего ответа не будет?»

«Вот и Жданов... того... — огорченно думает дядя Терень, — закружил человек. А какой охотник был! Какой мужик был! Что ж это за сила такая — женщина?!»

Он поднимает глаза на реку, словно ждет от нее ответа.

Но река знай, звенит свое. Над ней носятся бесноватые птичьи стаи. Ликующий весенний гомон стоит в воздухе. С каждого камня несется птичий крик. Словно камни поют.

За мысом дядя Терень догоняет белушатников. Их человек сто, они идут скорым маршем по льду, торопятся зверобойку на зимовья не заходят, греются и едят у ростров на берегу. До Широкой они доплыли по Енисею за ледоходом, дальше лед не пустил, идут пешком.

Дядю Тереня они встречают радостно: многие знают старика. Они окружают его шумной толпой, со всех сторон тянутся руки и кисеты.

— Чтой-то вас много нынче, — смеется дядя Терень, окидывая взглядом пеструю толпу зверобоев. Он замечает в ней много незнакомых молодых лиц.

— Колхозники? Ну как дома-то? Отпахались?

По случаю встречи объявляется привал прямо на льду, люди располагаются у большого костра и наперебой расспрашивают дядю Тереня:

Ну, как нонче — белухи много будет?

Дядя Терень сердито огрызается:

Колдун я? Откуль мне знать?

Колдун, колдун... — смеются зверобои, — ты приметы знаешь.

Приметы! — сердится старик. — Если голова на плечах есть — «примета»: человек умный. Ничего вам не скажу, скажу одно: сайки нонче много.

— Это к чему же... сайка? — робко спрашивает молодой парень с пухлыми губами. Он, видно, и впрямь считает дядю Тереня колдуном.

— Непонятно тебе, сосунок? — хмурит старик косматые брови (глаза смеются). — Задача! Сайка — рыбешка маленькая, с палец; белуха — зверь большой, с корову. Вот и пойми, что от чего зависимость имеет. — Он с удовольствием замечает, что парень-сосунок даже рот в изумлении открыл, и с торжеством заканчивает: — А вот и отгадка. Что зверь, что рыба, что человек — всяк за пищей ходит? Белуха — за сайкой, песец — за пеструшкой, человек — за зверем. Так-то, сосунок.

Зверобои зовут дядю Тереня итти дальше с ними.

— Вместях веселей! — говорят они, не желая расставаться с веселым стариком. Но он только качает головой в ответ.

— На том спасибо! Однако мне в сторону свернуть надо. К хозяину тундры на поклон пойду.

— К деду Курашу? — удивляется начальник партии. — Жив еще старик?

— Всех переживет! У стариков кость крепкая.

Он говорит это с гордостью. Подымается на ноги, берет палку и глядит, прикрыв глаза ладонью, на восток, туда, где синеют горы.

— Пойду! — говорит он просто и, не попрощавшись, взмахнув палкой, уходит. Зверобои долго смотрят ему вслед.

А он идет, высокий, прямой, тощий, и нет износу ни, ему, ни его сапогам из белой кожи.

Он не поет сейчас, не смеется в усы, не наклоняется над травинкой и камнем. Он идет на поклон к хозяину тундры, робкий, почтительный, такой, как и тринадцать лет назад, когда впервые шел к деду просить совета, покровительства и благословения. Вот и речушка, которую даже на картах называют речкой деда Кураша, вот и жильё.

Дядя Терень тщательно обивает у порога снег с сапог и входит.

Дед Кураш лежит на кровати в чистой белой, рубахе, торжественный и светлый. Эта торжественность пугает дядю Тереня, он поспешно снимает шапку, торопливо кланяется.



— А-а! — приветствует его дед Кураш. — Лешак-шалопут пришел! Все ходишь, молодой человек?

— Хожу, Егор Кузьмич.

— А я, брат, лежу.

Бабка Дарья с грохотом ставит горшок в печь.

— Ты не плачь, — сердито кричит ей дед, — не плачь, слышь? Не люблю. Но бабка и не плачет (она плакать не умеет).

— Каменная, — ворчит дед, — хоть слезу б уронила. Муж ведь помирает. Не кто-нибудь.

— Я-те помру, я-те помру, чорт! — кричит вдруг бабка. — Ишь, время нашел!

Не я, мать, время нашел, — укоризненно, но мягко выговаривает ей дед Кураш. — Это, мать, меня время

нашло. Уж, в какую глушь я от него спрятался, а вот нашло-таки...

Дядя Терень осторожно подходит к постели и присаживается на табурет. Он хочет закурить трубку, но не решается. Надо бы что-нибудь сказать, да слов нет. Он вдруг чувствует, что точно: тринадцать лет пролетело, как одна минута... Неужто помрет дед Кураш?

— Да, пожито, — говорит дед Кураш.

Ему хочется поговорить перед смертью, наговориться досыта, надо много сказать: много прожито, много думано было (в тундре думается хорошо), много вызнано, — все надо рассказать, все. И дед Кураш сердечно рад, что пришел к нему человек, пришел послушать старика, — вот и умирать легче.

— Да, пожито... — говорит он вздыхая. — Пора и того... на тот свет аргишить¹

— Рановато бы еще... — робко вставляет дядя Терень.

— Не рано, молодой человек, чего уж! А прямо скажу: не хочется. Ведь кто помирает, а? Дед Кураш помирает. Здешних мест владетель. А? Так я говорю?

— Так, так...

— То-то! Пришел я сюда, здесь следа человеческого не было. Было это... Эй, Дарья, в котором мы году пришли?

— В девятьсот втором, старик.

— Вишь. Тридцать лет и три года. Пришли мы сюда с бабой да с дитем.

Огляделись. Медвежий край. Баба плачет.

— Врешь, не плакала я.

— Плакала. Ты, чорт, слезливая. Плакала, тебе говорю. А я на нее — цыц! Нишкни! Не плакать, дура, надо — петь надо. Ты кто на деревне была? Ты раба была. Всем раба. Помещику — раба. Уряднику — раба. Старосте — раба. Мужу — раба. А здесь? Мы, говорю, с тобой, Дарьюшка, здесь сами помещики, сами цари. Ишь, простор, какой! От станка к станку сотни верст. А что зверя! Что птицы! И воля! Хошь пей, хошь бей, хошь слезы лей, — все на своей воле.

¹ Аргишить — кочевать.

Он задумчиво опускает голову на грудь и долго молчит. Дядя Терень боится нарушить его думы и молчит тоже. Бабка Дарья, нахмурившись, стоит у постели и, подперев кулаком подбородок, смотрит на мужа. Ее лицо точно из камня и глаза сухие, но у губ сложились две трещинки, и в них все: и великая нежность, и великое горе.

— Ты слушай, слушай меня, молодой человек,— вдруг сердито кричит дед Кураш, — ты не перебивай...— он поводит злыми глазами. Ему кажется, что он все время говорил, а не думал про себя, а его не слушают, перебивают.

— Я и то... молчу... — испуганно оправдывается дядя Терень.

— Не перебивай! Я худому не научу. Не ты один и ходил ко мне уму-разуму поучиться. Ты слушай.

И он начинает долгий рассказ о том, как полюбились ему это глухое место, эта речушка и камни на ней, как поставил он избу, а подле избы — капканы, как стал он постегать премудрость тундры и других учить промыслу, как стали к нему люди за советом ходить, а сам он — ездить за умом к ненцам («потому врут, что они—дикий народ, они — самые мудрые люди на земле»), и теперь он может многому научить людей («случись ученый тут, большущие книги мог бы он с моих слов написать»),— да вот умирает, и промысел передать некому. Народила Дарья ватагу ребят, а где дети?

— Где у нас Сережка, Дарья?

— Сереженька на зверобойке, дед.

— А Петрушка где?

— Петрушка на Мурмане летает.

— А Васек?

— Васек на Челюскинском мысу.

— Шалопуты! — ругается дед. — Шатаются по белу свету, а отец помирает один.

— А ты подожди помирать-то, дед, — вкрадчиво говорит дед Терень. — Сынов дождись. Я их тебе всех соберу.

— Подождать! Это, брат, молодой человек, не от меня зависит. Это как еще смерть резолюцию положит, однако сынов дождусь, — говорит он вдруг и решительно обводит всех сердитым взглядом. — Опять плачешь,

Дарья? Что ты меня раньше время хоронишь? А ты чего чорт, лешак, приуныл? Разве так деда Кураша привеча ют? Играй песню, песельник. Ну!

Бабка Дарья в возмущении даже руками всплескивает.

— Ты чего выдумал? — кричит она. — Чего выдумал?

— Играй песню, Терень! — властно приказывает дед и дядя Терень, как и тринадцать лет назад, откашлявшись, запевае песню:

*Гой ты, тундра бесконечная... Эх!
Нам родная мать — не мачеха... Эх!
Наша волюшка — привольная...
Э-эх!*

Дед Кураш слушает его, качает в такт бородой, но голова его все ниже и ниже клонится к подушке. Он закрывает глаза и тяжело дышит.

Дядя Терень испуганно обрывает песню, и бросает к старику. Дед что-то шепчет, дядя Терень с трудом разбирает слова:

— Сынам напиши..., пусть поторопятся... Не смогу их долго ждать...

С тяжелым сердцем уходит дядя Терень из избы Егора Курашева. И кажется ему, что и дорога стал труднее, и ноги слабее.

«Тоже ведь смерть не за горами. Все мы подле ее капканов ходим, и неведомо, когда тебя ее давка придавит».

А тундра звенит и поет. Вот и хозяин умирает, а е дела нет. Все идет своим чередом: вскрываются реки тает снег, бегут в залив ручьи, нерпа просасывает во льду лунки, все идет своим порядком. Трофимов о новой бане хлопочет, Митяй — об охотничьем ноже, Арсений мучится ревностью, а Жданов — любовью, сосед Настю ждет, чайка кричит, песец бежит, нерпа на солнце греется. И если дядя Терень помрет, все будет ждать свою Настю сосед, и обрадуется ей, когда она приедет.

Наконец вдали засинел мыс Лемберова.. Здесь последнее зимовье на пути к Диксону.

Так и на карте показано: мыс Степана Лемберова. А ведь Лемберова дядя Терень лично знал, не раз с ним подле спиртишка грелся. Был Степан Лемберов простой

человек, тобольский плотник и объездчик собак, прожил долгую бродячую жизнь на севере, участвовал в первой экспедиции Циглера на землю Франца-Иосифа, а потом в экспедиции на «Герте», разыскивавшей Седова, жил на Диксоне, построил баню, а в 1920 году умер. На его «могиле и сейчас стоит крест из серого плавника, а на карте напечатано его имя.

И деда Кураша имя есть на карте. Может, и бухточку, где живет дядя Терень, когда-нибудь назовут его именем? Все-таки без следа не исчезнет с земли человек, не растает, как снег весной.

Так, размышляя о жизни и смерти, подходит дядя Терень к избе Повойниковых.

Согнувшись, входит в низенькие сени, распахивает дверь, из-за которой доносятся крики и плач, и попадает в драку.

Не отскочи он в сторону, быть бы старику покойником: мимо него со свистом пронесется табуретка, шлепается о двери и разлетается щепками.

Дерутся братья Повойниковы: у младшего лицо исцарапано в кровь, у старшего по губе течет алая струйка и глаз припух. Бабы визжат и тоже лезут в драку. Баба его, худая, злющая, растопырив пальцы, насккивает на противницу, ее когти страшны; баба младшего, пухленькая, маленькая, в растерзанной кофточке, обороняется, чем может, но больше слезами.

— Мир дому сему! — хмуро произносит дядя Терень сбрасывает мешок с плеч. Повойниковы сразу стихают. Бабы поспешно застегивают кофточки, младшая прячется за занавеску. Братья вытирают кровь с лица и смущенно отворачиваются, а он, молча, проходит к столу, медленно опускается на табурет и кладет на стол руки.

— Весна нонче ранняя... — говорит он, словно ничего видел. — В Широкой лед взломало третьего дня. Белушатники говорят: нынче у Горла лед. — Он обводит избу равнодушным взглядом: поломанные табуретки, поваленные лавки, люльку, в которой младенец плачет, и тем же тоном спрашивает: — Ну? Чего не поделили?

Старший Повойников — огромный, нечесаный, ленивый мужик страшной, тупой силы; младший — проныра и жулик. Вероятно, задирает младший. Он же и бывает

битым. Жена старшего — баба-ведьма, жена младшего — овца и дура. Вероятно, заводит старшая, она и подзуживает мужа. Все это дядя Терень знает и спрашивает без надежды помирить братьев и их жен.

Младший Повойников первый начинает выкладывать свои обиды. Говорит он визгливым, бабьим голосом, бросая злые взгляды на брата и на его жену. Старший смущенно молчит, за него говорит его жена. Она всех перекрикивает и сыплет на дядю Тереня ворох сплетен, обид, — все это житейские мелочи, все от шершавости быта. Изба — тесная, а люди — колючие, словно ежи в норе.

В таком деле судьей быть трудно. Но дядя Терень честно пытается разобраться во всем.

— Стойте, граждане, — строго говорит он, надев очки. — Давайте по порядку. Так что ты говоришь, Семен, о капканах?

Но его перекрикивают голоса спорщиков, и он, безнадежно махнув рукой, умолкает и снимает очки.

Спор разгорается с новой силой. Визгливо кричит Повойников-младший, размахивает руками и все время обращается к дяде Тереню, бросая косые взгляды на жену брата. Хрипло ругается жена старшего, шипит из-за занавески жена младшего. Наконец и старший Повойников, все время молчавший, не стерпев, бьет кулаком по столу и орет неведомо что, всех перекрывая своей могучей глоткой. Теперь уж быть драке.

Но дядя Терень, про которого в шуме совсем забыли, слышит плач в углу, встает, подходит к люльке, наклоняется к младенцу и говорит сердито:

— Эх, люди, люди! Дите разбудили... Родители!

Оттого ли, что сказал он это с сердцем, оттого ли, что ссора вдруг выдохлась, но Повойниковы сразу стихли.

И во внезапно наступившей тишине слышно, как плачет ребенок. Он плачет настойчиво и обиженно.

У Повойниковых дядя Терень не задерживается. Некогда, да и не хочется.

В сенях младший брат торопливо сует старику записку.

— Пошли телеграмму, — возбужденно шепчет он, — нехай разведут нас с братом. Убьет он меня.

Старший догоняет дядю Тереня уже за мысом. Он снимает шапку и протягивает старику бумагу. Дядя Терень, не читая, кладет телеграмму в мешок.

— Эх, люди, люди! — качает он головой. — Звери в логе.

Повойников смущенно опускает лохматую голову.

— Не осуди! — хрипло просит он и разводит руками.

*Долог путь до моря сизого... Эх!
Тяжеск путь до острова скалистого... Эх!
Где ты, мачта, где заветная?
Э-эх!*

Вот и заветная мачта выглянула из тумана. Вот и черные скалы. А за скалами уж и море сизое. Путь окончен.

Дядя Терень входит в бухту Диксона. Снег со льда сошел, и бухта — как двор хорошего хозяина, — чистая, точно метлой выметенная. Только в ямках во льду чернеет мусор, но и он сверху покрыт тонкой, прозрачной ледяной коркой... Похоже на стеклянные шары, украшение комодов.

Первым делом дядя Терень отправляется на радиостанцию. Здесь вытряхивает он свой мешок и наблюдает, как несутся в эфир и заботы Трофимова, и ревность Арсения, и любовь Жданова. Вот последняя радиограмма отстукана. Теперь дело дяди Тереня — ждать. И слушать.

Он сидит в кают-компании, окруженный полярниками, прихлебывает кофеек из большой кружки, лакомится засахаренным лимоном и слушает. Слушает он жадно, все нужно знать ему: и что на свете делается, и какие караваны идут, и где нынче лед. По целым часам сидит он подле репродуктора, окутанный облаками табачного дыма, подолгу простаивает у карты, на которой флажками расцвечены пути кораблей. Расспрашивает синоптиков, а радистов, моряков с зимующего лихтера. С ним люди разговаривают охотно, он умеет, и спросить, и послушать, и свое слово вставить. Он ничего не записывает, — такой моды у него нет, он и не знает, что можно новости записывать, но что он услышал и понял, то запомнил прочно. Кок говорит, что дядя Терень совсем «нафарширован новостями», — а старику все кажется, что узнал он мало.

Однако засиживаться на Диксоне нельзя. Весна торопит: ныне она ранняя. Она уже во всей красе: дожди и

туманы. Это и есть полярная весна. Дядя Терень озабоченно прикидывает в уме сроки, обратный путь будет во много раз труднее.

— Летуй с нами, дядя Терень, — предлагают радисты.

— Мне, мил человек, летовать здесь никак нельзя, — отвечает он. — Меня люди ждут.

Однако и уходить никак невозможно. Вот уж со всех концов получены ответы на телеграммы, только от бабенки Арсения все нет и нет.

— Экая бабенка, какая непутевая, — злится дядя Терень, но не уходит с острова, ждет: как без радиограммы к Арсению явишься?

Тоскливо глядит он, как тает под дождем лед на бухте, — он весь уж в дырочках, точно сыр. Почернел и съезжился снег на северных скатах гор. А ответа от бабенки все нет. Пролетел над островом первый косяк гусей, это уж гусь самостоятельный, — а ответа нет. Все сроки вышли, нет и нет ответа. Радисты решили подсобить дяде Тереню в беде.

— Мы ее к телефону вызовем. Врет, явится.

И точно — на другой день дядю Тереня вызвали на рацию.

Он очутился перед микрофоном и услышал женский голос:

— Алло! Я слушаю...

Старик даже растерялся. Ведь это что, ведь это из Москвы голос... Ведь это он сейчас скажет, а в Москве услышат. Тут зряшное слово сказать нельзя, тут весь мир тебя слышит.

— Алло! — нетерпеливо зазвенел в ухе женский голос. — Ну, что же вы не отвечаете?

«Капризная дамочка», — подумал дядя Терень и вдруг рассердился: экая баба! Еще кричит. Лед вот-вот тронется, а тут все сиди, ее листика дожидайся.

— Я мужу вашему сосед... — сказал он в' микрофон, не уверенный, что слова его услышат.

— Ах, сосед! Очень, очень рада. Ну, что он, как бедненький мой? Ах, знаете...

— А то, что нехорошо вы делаете, милая дамочка. Нехорошо, — сказал дядя Терень в микрофон и даже головой покачал. — Я тебе это по-стариковски скажу, попопросту. Кабы ты дочка моя была али сноха, я б... — и тут

диктор дернул его за рукав, и он остановился. — Ну, то-то, проворчал он.

Я не понимаю, — сконфузилась бабенка. — Что это вы говорите?

А то говорю, — сердито закричал в микрофон дядя Терень,
— что нельзя так. Муж тебе, баба, не игрушка, вертеть, им тоже нечего.

Радиограмму получила, сказывай?

— Получила...

А ответ что же? Я, бабонька, тут прохладиться не могу. Да и муж ждет. Муж он тебе аль кто?

— Ну, муж...

А коли муж, уваженье к нему иметь надо. Хоть и муж, а все человек он. Тоже сердце имеет. Не пар. Тебе хаханьки, а он не ест, не пьет... сна решил.

Я напишу, напишу... — заторопилась женщина, — я сегодня же... Ах, он глупый!

Чего напишу? — закричал дядя Терень. — Нет у меня больше сроку ждать.

Ты это понять можешь: скоро пойдет. Лед. А... — махнул он рукой. — Что ей про лед толковать-то...

Радисты, корчившиеся от смеха во время этого разговора, и тут решили подсобить дяде Тереню.

Гражданка, — сказал в микрофон диктор, — вы продиктуйте радиограмму, а мы ее передадим с соседом.

Только чтоб хорошую телеграмму, — проворчал дядя Терень.— Плохую не понесу.

Радист стал записывать: «Я жива, здорова, по тебе очень скучаю...»

— Скучаешь, как же, — буркнул старик, — ты еще Во кино напиши.

«... очень скучаю... жду тебя не дождусь. Деньги получила, но все уже вышли. Но это ничего, хотя трудно мне. А затем оставайся здоров, себя береги. Целую. Твоя Фрося».

Нет, нет! — закричал дядя Терень, что было силы — Не беру такую телеграмму. Не беру.

Что ты, дед? — удивились радисты.

«Просто целую» не беру. Пушай крепко-крепко, горячо целует, тогда понесу. Шалишь!

Ну, крепко... крепко... горячо, — пролепетала и Фрося эфир. — Какие вы странные!

Радисты вписали: «крепко-крепко, горячо», и довольный дядя Терень через час шагал со своим мешком за плечами по бухте, трогал лед палкой и пел.

Теперь только бы поспеть домой к большой воде! Дядя Терень идет скорым маршем, где можно — напрямик через тундру, где нельзя — напрямик через залив. Он торопится. Надо успеть опять на все зимовья зайти, всем письма раздать и выложить то, что всего важнее, — новости. Капсе, как говорят якуты; пынелъ, как говорят чукчи.

Великое дело — новость! Человек, принесший новость, — нужный, желанный человек в тундре. Ему — красный угол в избе, ему — почетное место у котка.

Но дядя Терень не чванится новостями, он ими не торгует. Он щедро раздает их встречному-поперечному, и они, сразу став крылатыми, летят по тундре. Новости важные, нужные: о том, где лед идет нынче, и когда каравана ждать, и чем баржи гружены, и какие люди едут, и какие цены на зверя везут, и какие порядки ожи-1 даются. Все дядя Терень узнал; все, что узнал, роздал.

В избе Повойниковых дядя Терень нежданно-негаданно застал мир. Он глазам не верит: за столом дружно сидит вся семья, лица у всех праздничные, светлые, бабы I в розовых кофтах, старший Повойников причесан, у младшего на лице умиление, царапины позажили.

— Мир дому сему! — бормочет дядя Терень и уж раздумывает, отдавать или нет радиogramмы из конторы.

— Дядя Терень пришел! — радостно визжат обе бабы и тащат старика к столу.

Ничего не понимая, он садится, обводит всех глазами: мир, мир написан на всех лицах, — и, обрадовавшись, поднимает чарку:

— Ну, — говорит он, — чтоб и нам, и вам и всем! добрым людям! — и пьет.

Обед проходит шумно и дружно. Но после обеда младший отзывает старика в сторону и спрашивает;

— Ну, как?

— Принес вам развод, — нерешительно говорит старик. — Аль невпопад? Младший задумывается. Потом говорит:

— Однако давай.

Старик отдает радиограмму из конторы: младшему оставаться на мысе Лемберова, старшему переселяться на зимовье Жданова.

— Это как же? — вдруг громко произносит младший. — Отчего же Ивану ехать? Это и я очень просто могу поехать.

Все в избе настороженно затихают.

— Ишь ты! — криво усмехается младший. — Ивану лафа какая. Промысел Жданова известный, с нашим не сравнить.

Швыряет телеграмму в лицо старшему и шипит:

— Вперед забежал? Ловкой!

Старший Повойников еще и разобраться ни в чем не успел, а жена его уж вцепилась в Семена, а Семенова баба — в него. Драка вспыхивает сразу, трещат бабьи кофты, летят табуреты...

— Стойте! Стойте! — надрывается дядя Терень. — Люди вы аль не люди? — Он кое-как выбирается из драки, хватает мешок и ружье. — Тьфу! — плюет на пол и скорее вон.

«Что за люди! — недоумевают он, оставшись один. — Тундра широкая, а им тесно...»

Однако некогда размышлять о Повойниковых. Некогда думать. Теперь только смотри да смотри. Лед тончает, забереги стали огромными, что полыньи, тундра топкая, вязкая, под каждым камнем — лужа, реки вскрылись, разлились, трудная дорога, мокрая.

А времени мало!

«Застану ли еще деда Кураша в живых?» — озабоченно думает дядя Терень.

Деда Кураша он застает подле избы. Старик лежит на лавке, греется на солнышке.

— А-а! — встречает он дядю Тереня. — Долго холишь, молодой человек! Бывало, раньше шибче ходил.

— Оно раньше ноги ходчее были, — шутит дядя Терень, — теперь самоходы мои выходились. Надо себе автомобиль заводить.

— Заведи, заведи. Ну, как сходил? Счастливо?

— Ничего. Приедут к тебе, Егор Кузьмич, сыновья. Ты дождись!

— А-а! — усмехается дед в бороду и не может улыбки скрыть. — Приедут-таки, шалопуты. Испужались. А вот возьму да, не дождавшись, помру. А? — и он смеется своей угрозой.

Дядя Терень начинает выкладывать новости. Сперва государственные, политические.

— Вот в Москве под землей дорогу выстроили, — сообщает он, — называется метро.

Но деда Кураша новости московские не интересуют. Раз и навсегда он ограничил свои интересы делами Арктики. Здесь его изба, его промысел, его дети.

— Ну, как там... какие полеты будут? — спрашивает он.

«Это про Петрушу вопрос», — отмечает про себя дядя Терень и рассказывает о полетах.

— А что про зверя слышать? Как нонче белуха идет, как нерпа, как морж?

«А это про Серегу», — догадывается дядя Терень и рассказывает о зверобойке. — Так, так, — одобрительно кивает головой дед. — И о полярных станциях слышал? Как нынче на Диксоне? Али, например, на Челюскином мысу?

«А это уж про Ваську», — улыбается дядя Терень и рассказывает про Ваську, то бишь про станцию на Челюскином мысу.

Вот и все новости выложены. Можно и в путь. Дед сердится, что гость уходит так скоро, но понимает — засиживаться ему нельзя.

— Оставил бы я тебя еще на день, — говорит на расставанье старик, — да ноги нонче у тебя не те. Торопись. К большой воде не поспеешь.

Целый день сеется дождь, мелкий, настырный, и когда дядя Терень добирается до избы Жданова, на нем сухой нитки нет.

Жданов встречает его, как всегда, молча, ни о чем не спрашивает, ведет в избу и, пока дядя Терень сбрасывает с себя мокрую одежду, достает из сундука свою и дает старику.

Потом оба садятся к огню и закуривают.

— Я послал, — кратко сообщает дядя Терень: с Ждановым научишься краткости.

— А-а! — равнодушно отзывается Жданов.

— Ответа наказывал не ждать?

— Ну?

— Я и не ждал, — заканчивает дядя Терень и протягивает к огню ноги в шерстяных ждановских чулках.

Оба молчат и курят.

Слышно, как стучит дождь в окно.

— Однако, — вдруг говорит дядя Терень, зевая, — однако писулька тебе какая-то пришла...

Лицо Жданова начинает медленно краснеть. Но он ничего не говорит, не торопит дядю Тереня, только трубкой пыхтит, — трубка, как назло, погасла.

Дядя Терень достает из мешка радиogramму и сует Жданову.

«Я получила ваши розы, дорогой друг. Спасибо от всей души. Часто и тепло вспоминаю нашу встречу в тундре, и еще раз вам, как тогда, скажу: хороший вы, правильный человек. Буду, рада вас увидеть в Москве, если случится вам быть там. Сердечный привет. Татьяна Логинова».

Жданов долго, очень долго читает радиogramму и вдруг сам начинает рассказывать о Татьяне Логиновой, о том, как встретил ее в прошлом году, пятого июля, в тундре (она геолог), как посчастливилось ему оказать ей услугу, пустяшную, а вот помнит, и как думал о ней с тех пор, всю зиму думал, думает и сейчас...

— В Москву поеду. Погляжу на нее. Только погляжу.

И обратно сюда!

— Один вернешься? — будто невзначай спрашивает дядя Терень.

Жданов бросает на него свирепый взгляд и рычит:

— Один! А ты что думал? Один, чорт тебя подери!

В избе Трофимова дядя Терень мешок кладет прямо на стол, вся семья собирается вокруг, и старик торжественно раздает подарки: Митяю — книги, хозяйке — сгущенное молоко в банках и скляночки с лекарствами и присыпками из больницы, Трофимову, — хозяйственные мелочи.

Митяй вертит в руке книги и смотрит на дядю Тереня исподлобья.

— Ты чего? — спрашивает отец.

— Ничего, — надув губы, ворчит Митяй, — надул...

— Ах, да! — говорит дядя Терень, хлопая себя рукой по лбу. — Я и забыл!

И, лукаво улыбаясь, вытаскивает из кармана нож и отдает Митяю.

Подарки розданы, теперь — новости. Трофимову нужно рассказывать обстоятельно. Это не Жданов, не дед Кураш. С Трофимовым можно долго и смачно говорить о политике. Гадать, будет ли нынче война или нет и какого урожая ждать в колхозах, и каких цен на зверя.

Как всегда, дяде Тереню не хочется уходить из теплой, домовитой избы Трофимова. Хорошо бы остаться и сидеть вот так у огня, курить, беседовать, слушать, как стучит дождь в окно, как возится девочка в люльке, как повизгивают в сенях собаки. И то сказать, довольно уж он походил на своем веку. Место старика у печки.

Но, рассказав все новости, он встает, выколачивает трубку о каблук, надевает мешок на плечи, прощается и выходит.

Всю дорогу от избы Трофимова до жилья Арсения дядя Терень последними словами ругает арсеньеву бабенку. Это из-за нее потерял он на Диксоне три дня. Три дня, шутка ли сказать. Три дня, когда тут каждый час дорог. Час весну делает.

— Вот чортова баба! — ругается старик, перепрыгивая через трещины и проваливаясь по грудь в ледяную воду. — Ох, баба анафемская! Да коли б ты дочкой моей была б аль снохой — я б...

К жилью Арсения он добирается из последних сил. Все мокро на нем. Он дрожит и от холода и от усталости, проклиная дорогу, бабу и себя за то, что связался с этими делами.

«Ишь, какие дела завелись в тундре: любовь, ревность. Сроду не было. И люди стали беспокойнее, и вёсны хуже, и вода холодней — до костей пронизывает, да и кости не те (главное — кости не те), что прежде. Все тело ноет. Совсем застудил ты себя, старик. Ах, дела!»

Но когда Арсений, исхудавший, обросший бородою, страшный, нетерпеливо бросается к нему навстречу и

кричит: «Ну? Ну? Ну?», старик, стуча зубами от холода, первым делом отвечает ему:

— Принес, принес. Крепко целует. Дай отогреюсь, погоди, отойду...

Но прежде всего он отдает Арсению радиogramму, потому что душа у человека болит всегда сильнее, чем кости.

Арсений вырывает радиogramму из окоченевших рук старика и жадно читает.

— Ишь! Ишь ты! — бормочет он, весь расплываясь в улыбке. — Ишь! — сконфуженно хмыкает он.

Вот уж душа и вылечена. А кости — что кости? Кости стариковские привычные, — отошли и они. Снова можно в дорогу.

— Ты не уходи! Не уходи! — просит Арсений.

Нельзя человеку оставаться одному, наедине с горем, но еще труднее — с долгожданной радостью. Теперь только бы говорить, говорить, рассказывать о жене, о том, как она любит его и он ее, и как он» чудесно жить будут...

— Ты не уходи, дядя Терень, золотой ты человек! — просит Арсений. — Теперь как раз нам выпить следует!

Но старик помнит о соседе, который тоже ждет. Тоже, поди, душой изболелся.

Надо итти. Надо итти.

Сосед стоит на высоком берегу и смотрит в залив, Над Енисеем — рев. С треском взламывается лед, льдины сталкиваются, со скрежетом переворачиваются, бьются; снежная пыль столбом стоит в воздухе.

«Теперь дядя Терень заливом не пойдет! — грустно думает сосед. — Теперь пойдет берегом, в обход. И ждать сегодня нечего».

В последний раз бросает он взгляд на ледоход и вдруг далеко-далеко в заливе замечает одинокую черную фигуру: она мечется среди льдин, прыгает. Сосед всматривается и с ужасом узнает дядю Тереня.

— Дядя Тере-ень! — кричит он испуганно. — Что это ты?

Но старик не слышит. Кругом грохот, рев, треск. Лед ползет из-под ног, прочные ледяные поля вдруг раскалы-

ваются в самом надежном месте и заливаются водой. Большая вода идет, большая сила идет, как с ней старику сладить?

— Вот проклятая баба! — ругается он, вспомнив жену Арсения, и мечется по льдине.

До берега еще далеко. А на берегу мечется сосед. Невольно повторяет движения старика на льдине, всплескивает руками:

«Ах, беда какая! Что же теперь, а? Пропал старик!»

Вдруг он решается, бежит к лодке, сталкивает в воду, прыгает в нее и, отталкиваясь шестом от льдин, торопится на выручку. Лодка скользит среди ледохода, обломки льдин летят в нее со всех сторон.

— Э-эй! — кричит сосед. — Дядя Терен-ень!.. Подер- жи-ись!.. Держи-и-ись!..

Старик замечает лодку.

— Ты заче-ем? Заче-ем? — кричит он сердито. — Тебя раздавит, чо-орт!

— Ты держи-и-ись! — доносится до него.

И старик, ожесточенно сплюнув, прыгает на соседнюю льдину, а с нее на следующую, и еще на следующую, навстречу лодке.

Через полчаса оба шабра¹ на берегу. Оба мокры с головы до ног, оба измучены.

— Приедет Настя... — говорит старик, — вот вода пройдет, она и приедет. — И отдает радиogramму.

Сосед, сконфузившись, читает. Дядя Терень глядит, как проносятся мимо льдины с отпечатками его шагов. Они несутся в море.

— Это хорошо, что Настя приедет. А? Как думаешь? — конфузясь, спрашивает сосед. — Человеку без бабы никак невозможно жить.

— Это верно, — соглашается старик. — Такое уж дело, — и смотрит на ледоход.

Соседу вдруг становится стыдно за свою радость:

«Что ж это я, — все о себе да, о Насте! Надо и старика спросить».

Ну, а ты, дядя Терень, что из дому получил? Хорошие вести?

¹ Шабер — сосед.

- Из дому? — смеется старик. — А у меня, мил друг, никакого дома нет.
- А родня?
- И родни нет. Бобыль. Как подорожник у межи, один... так-то!
- А кому же ты радиogramму посылал?
- Я? Никому.
- Так ходил ты зачем? — удивленно спрашивает сосед.

Но старик не отвечает.

Идет большая вода — это всего интереснее.

«Значит, поспел-таки!» — думает старик и снимает шапку, словно приветствует большую воду.

1939 г.





ТАЯН-НАЧАЛЬНИК

1

Таян умирал с голоду в бухте Провидения. Его отец, старый Кисимбо, уже умер. Он был хороший охотник и хороший моряк. Мистер Томсон, на шхуне которого плавал Кисимбо, досадливо пожал плечами: «Жаль, — сказал он, — но все люди смертны, а чукчи смертнее всех».

Таян похоронил отца на чукотском кладбище. Мать Таяна была эскимоской, и себя Таян считал эскимосом, но отец был чукча, и ему следовало лежать здесь. Таян положил труп на мерзлую землю и обложил со всех сторон камнями, как требовал обычай.

Не следовало человека зарывать в землю, — ему будет тесно и душно там. Какая под землей охота? А Кисимбо был охотник.

Таян хорошо положил отца: старик мог видеть небо, где жил великий Киянгак — бог мира, и море, где рыбой и зверем правил Мыхым-юга — бог моря. Боги видели: чукча Кисимбо умер плохой смертью, смертью голодного. Не так следовало бы умереть охотнику, у кото-

рого верное копьё, меткий глаз и умелые руки. Но боги видели и — молчали...

Через несколько дней песцы съели старого Кисимбо. Остался скелет; он лежал среди камней, пустые глазницы черепа смотрели в небо. Песцы были сыты. Люди умирали от голода.

Медленной смертью умирал Таян. Умирала мать его, старая Инкали. И сестры — Пувзак и Коконга. И жена Таяна, Утыхтыкан; несмотря на свои семнадцать лет, Таян был уже два года женат.

Все эти женщины умирали на его глазах. Чем он мог помочь им? Он был еще мальчик, он не умел ладить капканов, у него было плохое, старое ружье. И хозяин вельбота смеялся над ним и не давал вперед мяса. Медное, безбородое, в жирных морщинках, лицо хозяина тряслось от смеха.

— Нет, — говорил он сквозь смех. — Не дам.

Таян уходил в тундру, смотрел капканы — ничего не было в них. Еле волоча ноги, брел он по пустому побережью моря, по мокрой гальке, где среди камешков еще шипела пена прибоя, по скользкому мху. Искал зверя, птицу, рыбу, все, что можно есть. Он был бы рад и дохлой чайке, но дохлых не было, а живые кружились над ним, пронзительно крича и насмехаясь, и он не мог подстрелить их: не было дрови.

— О Мыхым-юга! — не раз жаловался Таян богу моря. — Почему ты даешь мне смерть, мне и моей старой матери, и маленьким сестрам, и жене? Почему песец обходит мои пасти? Почему нерпа не подплывает к моему ружью на выстрел, а дразнится в море? Нет, Мыхым - юга, нехорошо ты поступаешь с Таяном. Я молодой, поэтому ты обижаешь меня. Ты злой бог.

Но Мыхым-юга молчал в ответ. Что ж, он был прав. Разве Таян угостил его, как следует по обычаю? Мыхым - юга любит нежное черное мясо оленя. А где его взять Таяну? Он давно забыл вкус мяса. Его ямы пусты. Мыхым-юга любит табак. Надо бросить ему в море горсть табаку, и тогда будет зверь, много зверя, и будет удача. Но где Таяну взять табак?

Нет, он не мог обижаться на Мыхым-юга. Он не заключил сделки с богом, бог не надувал его. Он не мог ни ругать бога, ни плевать на него в море, как те эски-

мосы, которые задарили бога и были обмануты им. Таян мог только терпеть и умирать.

Печальный он возвращался домой в ярангу. Женщины молча, смотрели на него, он опускал голову. Вероятно, он, в самом деле, был плохим охотником, раз ничего не мог принести женщинам. Ему было стыдно. Он забивался в угол.

Старая Инкали и сестры собирали в тундре нунивок — желтую тощую траву, по вкусу похожую на щавель, и ели ее. Они ходили к морю и ждали, когда прибоем выбросит на берег водоросли — морскую капусту. И ели ее. И Таян ел. Он жевал, челюсти его работали, но он оставался голоден. Он был страшно голоден. Он был голоден каждый день, и каждое утро, и каждый *вечер*.

От отца осталась легкая байдарка из моржовой кожи. Кисимбо плавал на ней в море. Теперь она состарилась, стала дырявой, и Таян решил, что ее можно съесть. Он нарезал ремни из кожи, Инкали варила их, и все ели. Коконге было четыре года. До трех лет Инкали кормила ее грудью, но молоко высохло, и Коконга голодала со всеми.

Когда последние силы Таяна иссякли, а брезент на Яранге сгнил, Таян пошел к мужу Асенгу. Это было летом 1925 года. Асенгу, сестра Таяна, вышла замуж за русского. Его звали Павловым, он был большим начальником в селении — милиционером. Таян пришел к нему и сказал:

— Павлов, я умру, и Инкали умрет, и мы все умрем, если ты, Павлов, не поможешь нам. Больше нам никто не поможет.

Павлов обнял юношу за плечи.

— У тебя худая яранга, Таян, ты сдохнешь в ней. Живи в казенном доме. Большой большевик едет жить на остров в море. Ему нужны собаки. Я купил их для него.

Ты будешь кормить их.

Таян стал кормить собак. Он ходит за ними, как за малыми детьми, как Инкали ходила за Коконгой. Он берег и любил их. Он радовался, глядя, как добреют их тела, острее становятся уши, мохнатей хвост. Он разговаривал с ними, и ему казалось, что они понимают его. Черный лохматый Дед, вожак упряжки, кивал ему косма-

той головой и дружески лизал его руки. Они понимали друг друга: юноша и собака.

Но Таян не знал, на какую охоту едет большевик, и зачем ему столько собак, и где этот далекий остров в море. Да он и не думал об этом. Он никогда не думал о том, что было там, за линией горизонта. Что будет с ним, когда большевик придет и заберет собак? Но и об этом он старался не думать. Он не голодал сейчас, и это уже было хорошо.

Наконец большевик приехал. Его звали Ушаковым. Он был среднего роста и хорошо улыбался.

Таян испуганно поджидал его подле упряжки собак. Озабоченно оглядывал свору. Понравится ли она начальнику? Не станет ли он ругать и бить Таяна за то, что собаки плохи? Русские купцы всегда кричат и дерутся, и мистер Томсон бил Кисимбо трубкой по лицу, и хозяин вельбота кричал на Таяна. Вероятно, человек, у которого много мяса, имеет силу и право кричать на человека, у которого мяса вовсе нет. И Таян испуганно ждал русского начальника, а плечи его дрожали, потому что среди многих богов, которые управляли судьбой Таяна, самыми, могущественными были: голод и страх.

Но большевик не закричал на Таяна и не ударил его. Он тихо улыбнулся и ему и собакам, а Деда потрепал по мохнатой морде; вожак упряжки ласково заурчал в ответ и лизнул сапоги пришельца. У большевика была добрая и властная рука, вожак лизнул и руку.

Из яранги в ярангу стал ходить Ушаков. Эскимосы и чукчи недоверчиво слушали его рассказы о далеком острове.

— Вы умираете здесь от голода, — говорил он. — Здесь мало зверя, и морж редок, и нерпа пуглива, и песец хитер. Хотите ехать на остров, где зверь непуган? Вы будете всегда сыты.

— Где этот остров, однако? — спросили осторожные эскимосы.

— Он в море, двести километров отсюда.

— Мы слышали об этом острове, — покачали головами эскимосы. — Там людей ждет смерть. Медведи бродят там, как здесь собаки.

— Вы будете бить медведей и есть их.

— Однако там медведь злой и не боится человека.

Это — проклятое место. Разве нет? Почему же никто не жил там раньше? Мы слышали о людях с Чауна и о людях с Камчатки, но о людях с этого острова не слышал никто.

— Там жили люди из Америки, — пожал плечами Ушаков. — Но это наша земля, и мы хотим, чтоб там жили советские люди.

— Я плавал на американском китобое, — сказал Кивьян, — и я знаю про этот остров. Там могилы эскимосов. Там смерть.

— Как мы покинем земли, где могилы наших отцов, — возразили чукчи.

— Мы подумаем, — сказали осторожные эскимосы.

Но Таяну нечего было думать. Что оставлял он здесь, кроме могил? Он был молод и хотел жить.

Он пришел к Павлову и сказал:

— Ты едешь, Павлов? И я поеду, пожалуйста.

2

И вот исчезают в тумане родные берега бухты. Тонкая полоска земли тает, — так тает льдинка в августе: вот скоро и она пропадет совсем. Плачут женщины. Протягивают руки к уплывающей земле, словно хотят уцепиться за нее, задержаться. Завыли собаки, завыл и лохматый Дед — тонко, жалобно. Охотники опустили головы. Куда везет их большевик? Где этот остров? Что ждет их там?

Дед выл все жалобнее и жалобнее. И Таян ушел в трюм, забился в самый темный угол, чтоб никто не видел слез на глазах мужчины-охотника.

Пароход шел на север, расталкивая синие льды, и пена билась за его кормой, и льды смыкались сзади.

Начальник приказал открыть бочку с мясом и накормить людей. Таян забыл о своих страхах. Голод сильнее страха. В первый раз в своей жизни Таян поел вволю.

Он ел, жадно глотая куски, облизывая пальцы. Впервые ел он русский хлеб. О, русский хлеб! Это не хаву-стак — тощая лепешка на моржовом сале. От русского хлеба исходил такой аромат, что Таян даже удивился: как может так пахнуть хлеб?

Так он и не заметил, как началась качка. С шумом полетели на пол ящики, содрогнулись снасти, закрипела обшивка. И льдины начали ожесточенно стучаться о железные ребра судна.

Кто-то сказал шопотом, что это Мыхым-юга гневается на эскимосов: зачем они покинули родину. Снова заплакали женщины, завыли собаки, а охотники смотрели за борт в туманное море и видели только льды и волны.

Туман облепил корабль со всех сторон, и с кормы уже скоро не стало видно носа. Казалось, что корабль плывет в пустоте, мокрой, липкой, колеблющейся.

И многие сказали тогда, что пришел последний час. Не найти в тумане острова, суждено блуждать и мучиться и умереть среди льдин и волн, вдали от могил предков. Но Таян стоял на борту и глядел в море с надеждой. Он знал: нельзя, немислимо погибнуть сейчас, когда наконец-то началась сытая жизнь. Он верил: сейчас разорвется сырой, лохматый туман и откроются сияющие горы острова. И мирные стада зверей будут бродить по тундре, покорные охотнику. И рыба, и нерпа, и морж будут весело кувыркаться в бухте. И тундра будет лосниться — жирная, мягкая, добрая, как тело тюленя после купанья.

И вдруг он увидел черные мокрые скалы.

— Земля! — закричал он и взволнованно начал бегать по палубе. — Земля! Земля! — кричал он радостно.

То был остров Геральда, так сказал капитан. А затем показались и скалы Врангеля. Они были черны и унылы. Ключья тумана висели на них, словно зацепившись за острые пики. Вокруг было пустынно. Падал дождь. Чернела вода в бухте. Все было не похоже на сияющую мечту об острове, какая сложилась у Таяна. Он огорченно вздохнул.

Охотники нерешительно сходили на берег. Женщины повалились наземь и уткнулись в мокрый песок и гальку. Они хотели задобрить землю, на которой суждено им жить, и они кланялись ей и заставляли детей кланяться. А Таян смотрел на черные скалы, на горы и ждал с испугом: сейчас из-за скалы высунется Нанек, медведь, хозяин острова, и зарычит на пришельцев.

Люди болтали: медведи здесь бродят стадами, как олени в тундре. Но Таян напрасно озирался: медведей не было. Он удивился и пожал плечами. Люди ввали.

Когда выгрузку кончили, пароход ушел, прощально ревя гудками. Снова заплакали женщины. Три раза гудел пароход, и три раза подымали рев женщины. Это был страшный, тоскливый рев.

И у Таяна подступили слезы к горлу, но рядом стоял охотник Паля, и они друг перед другом не хотели показывать слез. Они украдкой смотрели один на другого и стискивали зубы, и морщили лбы, а кругом чернели скалы, и прибой с досадой грыз пустынный берег, и не было ни жилья, ни человека, ни зверя вокруг.

Шесть дней пришельцы работали. Разбирали грузы, строили склад, разбивали палатки. Седьмой день начальник объявил днем отдыха. Таян впервые тогда услышал музыку патефона, — она понравилась ему, но не удивила. Он готов был к чудесам.

Потом охотники решили испробовать свои силы в беге. Таян тоже стал рядом со взрослыми. Он был молод, ловок и строен. Он хотел победить. Пригнувшись, высунув кончик языка и прижав локти к телу, ждал он сигнала.

— Беги! — крикнул Ушаков, и Таяна подбросило с места. И вот—ветер в лицо — Таян бежит впереди всех. Раньше всех прибежал Таян, и начальник поздравил его и дал приз: муки, чаю, сахару, папирос, спичек, новую рубаху и бусы. Таян тут же надел рубаху и закурил папиросу, муку и чай отдал матери, бусы — жене. Он ходил среди пирующих, щеголяя своей рубахой, и угощал побежденных охотников папиросами.

Но потом была стрельба, и Таян стрелял плохо. Охотник Иноко взял приз. И это было правильно. Где и как мог научиться стрелять Таян? У него никогда не было хорошего ружья и негде ему было научиться стрелять. И новая рубаха показалась ему плохой и темной.

Через несколько дней начальник сказал Таяну, что идет на северную сторону острова и берет с собой Таяна и еще нескольких охотников. Таян согласился. Они шли три дня, на четвертый пришли на северный берег. Начальник сказал, что здесь будет хороший промысел зверя, и стал орудовать приборами, вычислять и



записывать. Таян с почтением смотрел на него и удивлялся его учености. Северный берег понравился Таяну. Он решил про себя, что когда-нибудь станет жить здесь и сделается великим охотником, и будет бить зверя, и эскимосы будут славить его и петь о нем песни. Так мечтал молодой Таян, но Етуи сказал ему топотом, что здесь, на северном берегу, владения злого чорта Тугна - гака. Таян испуганно оглянулся.

На обратном пути охотников застиг туман. Они долго блуждали в нем и окончательно запутались. Они бросались то вправо, то влево, и всюду была незнакомая тундра, однообразная и не имеющая примет. Люди заскучали, сбились вокруг начальника и молча, глядели на него, ожидая, что он скажет.

Он сказал:

— Надо итти вперед, искать дорогу. Не то умрем. Продукты наши кончились, и кончился керосин.

Но Таян был хитрый. Он слишком много голодал раньше. Поэтому, отправляясь в путь, он припрятал банку мясных консервов и восемь штук галет. Восемь штук — он не раз пересчитывал их. Он никому не говорил о своем запасе. Он хотел съесть его один, тайком.

Тогда Ушаков тоже вытащил припрятанные им консервы и роздал всем. Таян удивился: «Отчего начальник не съел их сам, один?..» Ему стало стыдно. Он подумал. Подумал и вдруг, неожиданно для самого себя, вытащил мясо и галеты и отдал их начальнику.

— На, умилек.

Ушаков внимательно посмотрел на него и сказал:

— Ты молодец, Таян! — и Таян был счастлив и горд, и даже почувствовал себя немного сытым.

Начальник разделил мясо и галеты всем поровну, и люди снова начали искать дорогу в тумане, и тундра была кругом, рыжая, ржавая.

Долго бродили люди по тундре, а все не слышно было моря. Наконец остановились. Голодные, усталые, они сгрудились все вместе. Никто не роптал, не жаловался. Все только молча, смотрели на начальника и ждали, что он скажет: итти дальше — куда? — или лечь здесь на черные камни умирать. Они сумели бы умереть, как мужчины, без жалобы и стога, как умеют только эскимосы, чья главная добродетель — терпение и главный порок — покорность судьбе.

Начальник медленно опустил руку в карман и вытряхнул оттуда на ладонь крошки шоколада. Эскимосы, молча, ждали. Он потряс крошки в руке. Это были жалкие маленькие крошки, они перекатывались по широкой ладони туда и сюда, а люди смотрели, как катятся крошки, и ждали, что будет дальше.

Ушаков подсчитал крошки и разложил их на четыре кучки, и это были равные кучки, одна, как другая.

— Ешьте! — сказал начальник и протянул ладонь.

Их было четверо: Ушаков, Таян, Етуи и огромный неуклюжий Кивьян, похожий на добродушного медведя. Каждый слизнул свою часть шоколада с ладони начальника, а Ушаков слизнул свою часть последним. И все

четверо на всю жизнь запомнили это великое братство голода.

А потом вдруг услышали шум, веселый, гулкий ропот и поняли, что это море, что это жизнь, что это дом. И начали радостно кричать, и смеяться, и петь. И только тогда впервые улыбнулся молчаливый начальник и облегченно всей грудью вздохнул.

3

Теперь не голодал Таян. И старая Инкали не умирала с голоду. И Пувзак, и Утыхтыкан, и Коконга ели каждый день. Нет, не обманул большевик — голода больше не было.

Но оставался страх.

Мир, в котором родился и вырос Таян, был узок и мрачен. Человеку в нем было мало места. Небо, вода, земля, тундра — все принадлежало духам. Духи были добрые и злые, но злых было больше. Добрые жили у очага в яранге; то были смиренные, домашние и малоактивные боги. Злые были сильнее. Они носились вокруг, подымали бурю на море, пугали зверя в тундре, посылали метели на землю, болезнь и смерть, и голод на человека. Голод — самый страшный и беспощадный дух!

Люди жались у берега в своих дырявых ярангах. Они не жили, а приспособливались к жизни, чтобы не умереть. Они были беспомощны перед лицом страшного, непонятного им мира. Они жались к морю, но боялись его. В море была их пища, но страшно было море: льды, штормы, злые духи.

Все было страшно: и жизнь, и смерть, и злые духи, и купцы из-за моря. Старый Кисимбо о купцах говорил, как о злых духах, со страхом и почтением. Он боялся их, как боялся всего. Они давали ему, что хотели, и брали, что им нравилось. Все-таки они оставляли жизнь. Он был благодарен и за это, и жил, голодая и дрожа от холода и страха в своей яранге у моря, в бухте Провидения. Его провидением были боги моря, американские и русские купцы, голод и смерть.

В этом страшном мире Таян брел ощупью. Страхи, доставшиеся ему по наследству от предков, окружали его

со всех сторон. Он боялся и того, что знал, и еще больше того, чего не знал. Да, это таинственное и неосязаемое, разлитое вокруг и неосязаемое было еще страшнее.

Эти страхи не покинули его и на острове. Он привез их сюда с собой. Эскимосы заселили остров не только своими семьями, но и своими духами; они притащили их, словно груз за спиной. Они отвели северный берег острова злему чорту Тugnaгаку. Они задабривали его табаком, чаем и сахаром и обещали ему не трогать его владений. Они боялись его и хотели жить с ним в добром соседстве: ему — северный берег, им — южный.

Но северный берег был богат зверем. Начальник упорно звал туда за собой эскимосов. Он соблазнял их охотничьей удачей. А они качали головами и отвечали:

— Нет удачи там, где Тugnaгак.

И Таян, мечтавший стать великим охотником, тоже боялся Тugnaгака. Он готов был пойти с начальником еще раз посмотреть северный берег, но жить там, охотиться — нет.

В это время умер старый Иерок. Его смерть напугала Таяна. Он увидел в ней злую руку Тugnaгака. Он задрожал от страха и видел, как дрожат его товарищи.

— Ты один пойдешь? — спрашивали эскимосы покойника. — Ты никого не возьмешь с собой? После тебя никто не умрет?

Чтобы покойник мог отвечать, они подложили деревянный брусок под труп, и друзья покойного — Етуи и Кмо — подымали конец бруска. Если покойник хотел сказать «да», его легко было приподнять, если «нет», труп становился таким тяжелым, что его никак нельзя было оторвать от земли. В это верили и Етуи и Кмо, подымавшие бревно, верил и Таян и все эскимосы.

Покойник давал успокоительные ответы: он никого не возьмет с собой, никто не умрет. Но осторожные эскимосы не верили. Они приняли свои меры. Они отрясли свою одежду над покойником, передав ему все свои болезни. Они изломали нарту, принадлежавшую покойнику, разрезали ремни и ляжки, разбили чашку, из которой он пил, продырявили чайник, сломали нож. Если Иерок захочет вернуться, он не доедет на поломанной нарте, он не починит нарты сломанным ножом.

Но и это не успокоило их. Они затем «закрыли дорогу» в поселок, чтобы Иерок не нашел ее. Они спутали след, по которому везли похоронную нарту. Они петляли, возвращаясь, домой, делали хитрые узлы, стежки, кружили по тундре. Вернувшись, они вытрясли свои одежды над кострами. Они сжигали недуги, прилипшие к их одежде от покойника. Наконец, все еще испуганные, они разошлись.

Долго еще боязливо озирался Таян, не идет ли за ним Иерок. Не смерть была страшна — страшно было то таинственное и непонятное, что скрывалось там, в стране северного сияния, в царстве теней, куда ушел Иерок и откуда он может вернуться, страшный, потусторонний, непохожий на простого и доброго Иерока, каким он был в жизни.

Этого боялся Таян. Он боялся выходить далеко за пределы поселка. Свои капканы он расставил недалеко от жилья. Он мечтал стать великим охотником, но боязливо косился на север, в сторону владений Тугнагака.

Когда песец, наконец, попался в ловушку Таяна, молодой охотник, торжествуя, принес начальнику добычу.

— Я добыл! — кричал он, размахивая пушистым хвостом зверька. — Сам добыл!

Он ждал похвал, наград, одобрений, но Ушаков сказал ему:

— Что ж, хорошо, Таян. Но другие охотники добыли больше.

И Таян всердцах бросил песца наземь и, опечаленный, злой, ушел.

Как добыть песцов, если капканы стояли чуть ли не у самого жилья? Песец хитер и не забегает сюда. А итти далеко в тундру Таян боялся: медведи бродят вокруг, злой Нанек сердит на людей, незвано явившихся на остров.

Однажды Таян вез продукты охотникам, отправившимся на север.

Он ехал, забыв свои страхи, и пел. Он пел: «Это едет Таян, молодой, сильный охотник. Он ест теперь много мяса и будет большим и ловким. Он убьет Нанека и съест его сердце».

Вдруг собаки завизжали, рванули нарту и понесли.

Таян не понял даже, что случилось. Он опрокинулся навзничь на нарту, остол выпал из его рук и звякнул о крепкий снег.

Впереди, косолапо ковыляя, бежал медведь. Он удирал от собак, трусливо виляя задом. Собаки настигали его. Они несли Таяна прямо на медведя. Таян лежал в нарте и готовился к смерти.

Вдруг Нанек обернулся и зарычал. Он зарычал свирепо и предостерегающе. Собаки наскочили на него и вцепились в косматую шерсть. Медведь разозлился. Он поднял лапу, в лапе его была смерть. Таян закрыл лицо руками, скатился с нарты и упал в снег.

«Это — смерть. Это Иерок пришел за мной», — подумал он и припал горячим лицом к снегу.

Он слышал, как визжали собаки. Ему стало жаль их и жаль себя.

«Больше мне не ездить на них, больше не охотиться, больше не есть мяса», — подумал он и украдкой поднял голову.

Медведь хозяйничал в упряжке. Он схватил зубами одну из собак и рвал ее. Это была любимая собака Таяна. Охотник заскрипел зубами и вскинул винтовку. В ней был только один патрон. Таян прицелился, потом выстрелил и закрыл глаза.

Прошло несколько минут. Он еще жил. Он еще жил, лежал, дышал, думал! Тогда он осторожно приоткрыл глаза и увидел: медведь лежит на снегу; а подле него копошатся собаки. Робко, неуверенно пополз Таян к медведю.

«Неужели это я, я убил Нанека?»

Он смотрел на огромного распростертого на снегу зверя и не верил. Не притворяется ли Нанек? Почтительно тронул зверя прикладом. Медведь повел ногой, Таян отскочил. Но медведь не подымался. Таян ждал, затаив дыхание. Потом увидел, как содрогнулось огромное тело зверя, вытянулось, замерло.

И тогда Таян захохотал. Его смех зазвенел в торосах, отозвался в море, в льдах берегового прибоя. О! Он великий охотник! Вот он убил медведя. Одним выстрелом убил. Прицелился и убил. Захотел и убил. Подумал и убил. Никого, не боясь — ни зверя, ни духа. Кто сильнее Таяна? Кто ловчей его?

Он вытащил из ножен охотничий нож и размахивал им. Он плясал вокруг поверженного зверя и высоко подымал винтовку над головой. Пусть приходят теперь медведи. Он не боится их. И он плясал, утаптывая снег.

Подбежали охотники, услышавшие выстрел.

— О Таян! Ты убил медведя? — удивленно спросил Павлов.

— Да. Я убил. Я. Я один, — ответил Таян, но никому не сказал о том, как струсил, как упал с нарты. Он не врал: он просто забыл об этом.

Теперь он сам искал встреч с Нанеком. Но медведи не попадались, словно прослышали о смелости Таяна.

Однажды он стоял на берегу и глядел в море. Далеко на воде что-то чернело.

«Это чайка. Это глупая чайка», — презрительно подумал Таян.

О, он был теперь великим охотником. Он во всем знал толк. Он мечтал: «Поедем в море, уьем много моржей, завалим ямы мясом, станем богатыми. Сделаю новую байдару. Жена сошьет...»

Вдруг он опять взглянул на воду. Чайка все барахталась в воде. Его поразило, что у чайки уши. Он всмотрелся: да, уши! Он никогда еще не видел чайки с ушами. Э, да это морда Нанека! Нанек плывет!

Таян растерялся. Он начал прыгать по берегу, не зная, что делать. Побежал в ярангу. Схватил винтовку. Стал искать патронташ, его не было.

В яранге все всполошились.

— Медведь! Медведь плывет! — все время кричал Таян.

Женщины спрятались в полог. Таян метался по жилью. Где патроны, дьявол, где патроны? Он взломал непочатый патронный ящик, захватил горсть патронов и побежал к морю. Медведь был уже у берега. Таян разрядил в него всю обойму. Он стрелял беспорядочно и растерянно, не так, как следовало бы стрелять великому охотнику...

Все-таки он убил медведя и вытащил его на берег. Только тогда он увидел, что патронташ висит на поясе. Ему стало стыдно.

Больше он никогда не хвастался охотничьей удачей.

И тогда показалось Таяну, что все сбылось в его жизни. Вот он стал, наконец, охотником, как взрослые эскимосы. Он ходил с ними на байдарках в море бить моржа в погоду и в непогоду. Он ладил, капканы и промышлял песка. Но больше всего он полюбил охоту на медведя.

Он уходил теперь один далеко в тундру. Винтовка болталась за плечом, нож и веревка — у пояса; копьем он пробовал дорогу. Он брел по снегу один в белой пустыне и, если ночь заставала его в пути, разбивал охотничью палатку и спал в ней. Залезая в кукуль, он брал с собой камень, нагретый у костра.

Он узнал теперь все медвежьи места на острове. Он угадывал берлогу по влажному и черному пятну на снегу: это дышал Нанек.

Таян кричал:

— Эй, Нанек, выходи! Я жду тебя. Ну, ты, трусливая собака!

Но он знал, что Нанек не выйдет. Трусливая собака Нанек боялся Таяна. Тогда Таян втыкал копье в снег, делал большую дыру и бросал в нее веревку. Веревка, как живая, извивалась в берлоге. Она дразнила Нанека. Она то юлила у его носа, то вдруг рвалась вверх. Разъяренный медведь бросался на нее, но она ускользала, виляла, дразнилась.

Таян ждал. Играл веревкой — и ждал. Улыбался — и ждал. Его глаза, его нервы, его нож и винтовка ждали медведя.

И когда появлялась злая, рассерженная, оскаленная морда Нанека, Таян встречал его лицом к лицу. И он всегда убивал зверя. Потому что он был человек, а человек всегда сильнее и мудрей зверя.

Таян охотился теперь и на севере, во владениях страшного Тугнагака. Он ступил на север сначала робко, пугливой, осторожной ногой. Страх удерживал его — охотничья жажда толкала вперед. И она была сильнее страха. На севере было много зверя: у Таяна закипала кровь в жилах, его ноздри раздувались, как у охотничьей собаки. А Тугнагак? Но Тугнагак не тронул его! О! Таян бил зверя, принадлежащего Тугнагаку, и злой дух покорно сносил это.

Старики говорили, что это «до поры до времени». Но молодые эскимосы, усмехаясь, возражали, что слаб тот бог и тот человек, который откладывает кару на время. А начальник Ушаков говорил, что Тугнагака вообще нет, нет богов ни злых, ни добрых.

— Вот я бью зверя на севере, и Тугнагак не карает меня, — говорил он.

Но старики уклончиво отвечали:

— У русских свои боги, у эскимосов — свои. Что можно русскому, эскимосу нельзя.

— У меня нет богов, — смеясь, отвечал Ушаков.

— О! Ни одного бога?

— Ни одного.

И Таян размышлял, прислушиваясь к беседе: начальник все знает, все умеет. Он знает и как ловчей зверя бить, и как собак водить в упряжке, и как ловить солнце в маленький черный ящик. Начальник все знает и никого не боится. Возможно, что и нет Тугнагака. Таян не знает. Он не видел Тугнагака. Это нельзя пощупать, нельзя понюхать. Может быть, есть, может быть нет. Об этом лучше не думать. Вот Таян бьет медведей на севере, а Тугнагак не трогает его. Это хорошо. Это верно. Но лучше не думать об этом.

Мир, в котором жил теперь Таян, посветлел: в нем стало меньше страхов, больше радостей. Вот сидит Таян вечером у жировика и курит. Он курит, дым колеблется над ним... старая Инкали сидит у очага, курит, шьет... Жена заворачивает голого ребенка в мех... Это сын Таяна. Это хорошо. Сын будет, как и отец, охотником. Это правильно. Это так... Все сыты. От жировика струится тепло... Дремотно, спокойно... Пахнет дымом, моржовым жиром, табаком. Хорошо. Таян всем доволен. Он ничего не хочет больше. Ему хорошо и спокойно.

5

Когда человек голоден, он думает о мясе. Когда человек сыт, его мысли широки и безбрежны. Он думает обо всем.

И Таян стал теперь много думать. Он курил трубку и думал. Он смотрел на тундру и думал о тундре. Смотрел на море и думал о море.

Медленно, очень медленно раздвигался мир Таяна. Полог яранги, берег, покрытый галькой, кровь на камнях там, где разделявали моржа, длинная песчаная кошка¹, а за ней морская волна, то синяя, то серая, то черная (лучше всего, когда она синяя, плохо, когда черная с белой пеной на ней), — вот и весь мир Таяна. Но теперь мысль уносила его за море, за скалы острова. Где-то там, на зюйд-ост отсюда, стынет в тумане родная бухта, бухта Провидения. Скучал ли он о ней? Нет, просто думал. Вспоминал могилу Кисимбо, себя, каким был тогда, смотрел на зюйд-ост, в туманную даль... А еще дальше, за бухтой Провидения, за Андырским хребтом, за горами и тундрой, лежит Большая Родина. Раньше эту далекую Родину звали Россия. Что знал он о ней? Только то, что оттуда пришел Ушаков. И для Таяна Россией был Ушаков, как раньше Россией были купцы, скупавшие охотничью добычу за бесценно. Большевик Ушаков не был похож на купцов, и, значит, Россия теперь была другая.

Ушаков часто рассказывал о ней, и Таян слушал, одобрительно кивая головой.

— Э! Э! Так! — говорил он задумчиво, а потом, сидя один на один с трубкой у порога яранги, думал об этой далекой Родине, которая где-то там, за морем и горами.

Он рассуждал, покачиваясь в табачном дыму, что приходит сюда с Большой Земли? Оттуда пришел Ушаков. Это хорошо? О, очень хорошо! Без Ушакова Таян умер бы в бухте Провидения. Оттуда пароходы — это тоже хорошо. Оттуда вещи, которые нужны Таяну, — вот это ружье, вот эта банка с керосином, вот эта сладкая музыка в коричневом ящичке, вот этот хлеб, — и это тоже хорошо. Очень хорошо, отлично. Ничего плохого не приходит оттуда. Это так. Таян знает это. Вот все, что он знает о Большой Родине, но он хочет узнать и узнает больше.

Еще впервые дни жизни на острове Ушаков собрал всех людей и сказал, что надо поставить большой шест. Шест поставили, а на самый верх шеста Ушаков поднял знамя, алое и горячее, как кровь. Оно затрепетало на ветру, как пламя родного костра, и молодой Таян узнал от охотников, что это знамя его Родины. Он сорвал тогда

¹ Кошка — *к о с а*.

с головы шапку и бросил ее вверх и поднял над головой винтовку, и все вокруг сделали то же и объявили остров своей землей и алый флаг своим флагом, и поклялись защищать остров и флаг больше жизни.

И вот однажды — это случилось через год после клятвы у флага — у берегов острова появилась чужая шхуна. Чужой флаг был на ней, чужие люди в бинокли смотрели на берег.

Тогда собрались на военный совет все мужчины острова. Они курили трубки и говорили по очереди. И каждый сказал: — Остров наш.

— Зачем беспокоят нас чужеземцы? — закричал маленький Паля, а Кивьян, подняв огромные волосатые руки, потряс ими.

— О! — зарычал он. — О!. Я жил на Аляске. Я знаю их. О!

Ушаков слушал и улыбался. Этот остров, пустынный, голый, которого они и не знают еще вовсе, на котором нет еще ни селений, ни могил, — как стал он им таким дорогим и родным, что хотят они защищать его ценою жизни? И он радостно улыбался, слушая, как шумят мужчины.

Потом он разбил всех на группы, назначил вахтенных, роздал оружие и патроны и приказал готовиться к обороне.

Таян ходил с ружьем по берегу и зорким охотничьим глазом следил за чужой шхуной. Сердце его колотилось быстро, и древний воинственный клич, забытый его покорными предками на мирном берегу, готов был сорваться с его пересохших губ.

Но шхуна, постояв на рейде, ушла восвояси, видно догадавшись, что остров прочно занят советскими людьми.

А затем вдруг прилетел самолет. Его моторы взревели над самым селением, и Таян упал на колени и, дрожа, прижался к земле: он никогда еще не видел летающей машины.

Все население острова испуганно притихло.

Встревоженный Ушаков с наганом в руке пошел к бухте Роджерса. Он озабоченно следил, как садится на воду гидроплан; никаких опознавательных знаков на нем не было.

Из машины на берег вышли двое: коренастый летчик и высокий худой механик, оба в комбинезонах. Ушаков хмуро смотрел на них, они — на него.

Так прошло несколько долгих, тревожных минут. Наконец высокий не выдержал.

— Ну, здравствуйте, товарищи, что ли! — сказал он на чистейшем русском языке. — Разве так встречают гостей?

— Русские!.. Русские!.. — радостно пронеслось по острову, и все бросились из своих яранг навстречу дорогим гостям.

И быстрее всех бежал Таян, потому что он был моложе и ловчей других, потому что он хотел раньше всех увидеть летающих русских. И он уже без страха смотрел на качающуюся, на волне летающую лодку. Нельзя бояться того, что знаешь и видишь, что можно пощупать руками.

Летчики пробыли недолго на острове. Они сказали, что их послали узнать, живы ли советские люди на острове, нет ли больных, нет ли нужды и голода. И, услышав про это, мудрый Кмо сказал эскимосам:

— Слушайте Кмо: он прошел большой путь по земле. И он видел много снов и много людей. И хороший был год, и плохой был год, и годы проходили один за другим, как ветер по морю. И если был хороший - год, и зверя много, и клыков много, и меха много, приходил к Кмо купец и говорил ласково, как мать. И забирал у Кмо добычу и оставлял Кмо немного табаку, водки и чаю. Но если плохой был год и не было у Кмо зверя и не было меха, купец проходил мимо, и глаз его был недобрый, и Кмо умирал. Так я говорю, мужчины?

И все ответили:

— Так.

Кмо посмотрел на бухту, где качалась на волнах лодка, и продолжал:

Зачем прилетели люди на железной птице? Они не спросили, есть ли мех у Кмо и есть ли у него добыча, и не взяли ее. Они спросили: жив ли Кмо, жив ли Етуи и жив ли Таян? Может быть, болен Кмо? Может быть, голод посетил его ярангу? Мы накормим Кмо, — сказали они, — и мы утешим его в печали. Но Кмо, — он ударил себя кулаком в грудь, — сыт и здоров. Кмо бьет зверя и

— живет в теплой яранге. И люди на железной птице рады, что Кмо здоров. Так я говорю, мужчины?

И все снова ответили:

— Так.

В этот же день русские летчики улетели, но Таян запомнил их лица. И когда через много лет худой механик, которого звали Побежимов, снова прилетел на остров, Таян узнал его и горячо пожал его руку. Механик был все такой же, высокий и худой, только больше орденов стало на его груди, но Таян уже был другой.

6

Много чудес увидел Таян, живя на острове, и только одного он долго не мог понять: отчего, пожив на острове немного, русские уезжают обратно. Где еще на земле и на море есть такая охота? Где встретишь так много зверя? Где еще бывает так тепло в ярангах, так тихо и уютно у жировика?

И Таян заплакал, узнав, что навсегда уезжает от них Ушаков. Теперь он даже не скрывал своих слез; все мужчины плакали, провожая начальника.

Понятия «начальник» не было в языке эскимосов. Они звали Ушакова «умилек», что означает — кормчий байдары, вожак зверобойной артели, человек, который сидит у руля. И это точно выражало их отношение к нему. Разве он не посадил их на железную байдару и не повел за собой далеко в море? Разве не был он первым на промысле, первым на охоте, первым во всем?

С недоверием ждали эскимосы нового начальника на смену Ушакову. Что если снова появится купец? Что если Ушаков — лишь счастливое исключение?

Но приехал Минеев и оказался той же породы, что Ушаков. Эскимосы тоже стали звать его умилеком. И он тоже был первым на промысле, и учил их жить и бить зверя, и тоже рассказывал о Большой Земле. Он рассказывал им много и подробно, даже больше, чем Ушаков. Он говорил о том, чего и Ушаков не знал: что делается сейчас на Большой Земле.

Он сказал однажды:

— Сегодня в Москве дождь.

Таян не поверил и сказал, качая головой:

— Как ты можешь знать, умилек, что делается там сейчас? Разве твои глаза видят через горы, и твои уши слышат за тысячу верст?

И он отвернулся: ему стало стыдно за умилека, потому что самое некрасивое в жизни — видеть, как мужчина врет.

Но Минеев засмеялся и подвел Таяна к черному ящичку: такого не было у Ушакова.

— Вот мои уши! — сказал Минеев.

И Таян услышал далекий голос, и этот голос рассказывал о Большой Земле.

Он и не знал тогда, что через несколько лет его жена, которую русские зовут Таней, и его сестра Коконга сами станут радистками и будут колдовать у черного ящика.

Минеев прожил на острове пять лет, и Таян уже стал думать, что этот-то русский останется здесь навсегда. Но однажды пришел пароход, привез нового начальника и увез старого. И хоть было жалко, очень жалко расставаться с добрым другом Минеевым (эскимосы звали его «наш ата» — наш отец), но на нового начальника Таян смотрел уж без страха.

Правда, он спросил у него с опаской:

— Ты большевик, однако?

— Большевик, — ответил тот, и Таян успокоился.

Но скоро пришлось убедиться Таяну, что новый начальник (его звали Семенчуком) обманул его: он не большевик. Большевики — а их-то Таян знал! — были не такие.

Прежде всего, русские, которые были до Семенчука, отлично знали дело и умели жить. Когда выходили байдарки в море, даже в шторм, русские не суетились и не кричали бестолку, а разумно отдавали команду, и Таян слушался их. Этот же, Семенчук, ничего не знал, ничего не умел, но вмешивался во все. Он был громко кричащий человек, а Таян не любил людей, которые сердито кричат и машут руками бестолку. И по Ушакову и по Минееву Таян знал, что настоящий человек не станет зря кричать. Глупая чайка кричит на ветер. Глупый лемминг — полярная мышь — злобно шипит на сапог человека, нечаянно задевший его норку. Человек не чайка, не лемминг. Человек должен беречь слова.

Все русские были приветливы с эскимосами, и лица у них были веселые и улыбочатые. Этот же, Семенчук, сердит и темен лицом. «Вечно покрытый тучей», — так сказал о нем Таян. И все эскимосы горестно покачали головами.

Семенчук приказал эскимосам бросить промысел и итти на разгрузку парохода.

— Однако, время зверя бить, — возразили эскимосы.

— Будете зверя зимой бить.

«Зимой? У этого человека ума нет», — решили в ужасе эскимосы, а Таян выругался самым крепким чукотским ругательством:

— Он не умеет жить!

Но он не только не умел жить, он не давал жить и другим.

Настали страшные дни для островитян. Люди и собаки остались без мяса. Голод, гость, давно не виданный на острове, забрел в яранги эскимосов и стал хозяйничать там. Начали болеть дети, отощали охотники, заплакали женщины. И хотя ломились от продовольствия склады зимовки, Семенчук не дал эскимосам ни муки, ни консервов, ни керосина. И люди молча, приготовились к смерти. Умер охотник Тагью. Умер сын Таяна, которого русские звали Володькой и который мог бы стать великим охотником, как отец, а может быть, даже начальником, как Минеев, или летчиком, как Побежимов. Он мог стать всем, кем захотел бы, теперь это уже знал Таян, но вот умер и стал ничем, прахом, тенью. И, горько склонившись над трупом сына, задумался Таян. Если б он и сейчас верил в злых духов, он сказал бы, что Семенчук — злой дух, принявший образ умилека. Но Таян знал теперь, что нет духов, ни злых, ни добрых, и он понял, что Семенчук злой, неправильный человек, обманно называющий себя большевиком. И тогда Таян написал (он знал теперь русскую грамоту) письмо Минееву и рассказал ему в письме обо всем: о горе эскимосов, о смерти Володьки, о злом начальнике Семенчуке.

«Приезжай, умилек, — просил Минеева Таян, — все эскимосы по тебе скучают. А если нет денег на дорогу, телеграфируй, мы пришлем».

Но не мог приехать Минеев. Приехал другой начальник, большевик. А Семенчука увезли в Москву и судили

справедливым судом, и расстреляли. И когда узнал об этом Таян, он сказал:
— Это правильно, это по закону; он достоин смерти, потому что он не давал жить другим.

7

Шумит большой пир на острове Врангеля. Под тяжестью еды ломятся праздничные столы. Со всех сторон съезжаются на праздник гости. Байдарки и моторки пришвартовываются к берегу бухты Роджерса. Собачьи упряжки подкатывают к главному дому зимовки. Все население острова — от грудных детей до стариков — съехалось на полярную станцию праздновать десятилетие. Приехали гости с Большой Земли, одни по воде — на ледоколе «Красин», другие по воздуху — на самолете Молокова.

За праздничным столом сидят эскимосы-охотники, зимовщики, моряки, летчики. На почетном месте сидят Молоков и Побежимов. Девять лет назад прилетел сюда в первый раз Побежимов. И тогда это был подвиг, за который летчиков наградили орденами Красного Знамени. А теперь по пути «завернули» летчики на остров Врангеля, и это было обыкновенным делом, о котором никто и не говорит. И обыкновенным делом было то, что гремит на дворе духовой оркестр, а в кают-компании под джаз-банд моряков «Красина» пляшут фокстрот жена Таяна и моряк с ледокола, а на концерте выступает квартет Московской консерватории и поет приехавшая из Москвы певица... И совсем обыкновенное дело то, что жена Таяна — в шелковом хрустящем платье, в туфлях на высоких каблуках, и то, что сестра Таяна, которую русские зовут Тамарой, стала радисткой...

А Таян? Он ходит среди пирующих друзей, его желтые ботинки скрипят, его шелковый галстук развеивается. Таян чокается с гостями и обнимается с старыми приятелями и берет из рук повара в белоснежном колпаке большой праздничный пирог, похожий на башню, ставит на стол и говорит:

— Ешьте, друзья, досыта, подымайте свои кружки с вином выше. С праздником вас!

И он сам берет бокал, наполненный вином, и встает

на видное место, и просит тишины, потому что хочет сказать речь.

— Вы, сидящие за этим столом, — начинает он громко, чтобы все слышали, — мои друзья и соседи! И ты, Паля, и ты Нноко, и ты Кивьян. Слушайте, я хочу сказать вам несколько слов от Сердца. И ты, моя мать, старая Инкали, белая, как крыло чайки, тоже слушай, что скажет твой сын.

И толстогубый Кивьян сказал:

— Говори, Таян, мы тебя слушаем.

И Инкали, склонив свою седую голову, сказала:

— Говори, сын мой. Я склонила свое ухо к твоим речам.

— Слушайте и вы, — продолжал Таян, — гости с Большой Земли, прилетевшие к нам по воздуху, и вы, гости, приплывшие к нам по воде. Я расскажу вам про жизнь Таяна. А когда я скажу о Таяне, то это будет и о Пале, и о Нноко, и о Кивьяне. Так ли я говорю?

И мужчины ответили:

— Так.

— Был Таян мальчиком и умирал три раза в день от голода. И не было у Таяна байдарки, чтоб итти в море бить моржа, и не было ружья, чтоб бить зверя. И был Таян темный и мрачный, как туча, и слепой, как новорожденный щенок. Но пришел десять лет назад к Таяну русский большевик и повел его за собой. О! Далеко поплыли мы с ним в море, и многие плакали уезжая. Но прошло десять лет, и никто не плачет, а все смеются. И громче всех, радостней всех смеется Таян. Так ли я говорю?

Все весело закричали:

— Так, так, Таян!

— Весело стало жить Таяну. А когда я говорю: «Таян», я говорю — и Паля, и Нноко, и Кивьян. Нет у наших очагов страшного гостя — голодал. Весело трещит огонь, и вкусно пахнет мясо. И чтоб еще веселее было в яранге, Таян берет черный ящичек, который мы называем патефон, и крутит музыку. И все поют и пляшут в яранге Таяна, всем весело. О! Веселитесь и вы, друзья мои, и вы, гости с Большой Земли.

И все зазвенели кружками и стаканами, и выпили, а Таян продолжал:

— Был темный Таян и всего боялся. Духов боялся, зверя боялся, человека боялся. Теперь никого не боится Таян. Я учился на аэролога и запускал шары в небо, и ни разу мой шар в небе не задел ни бога, ни чорта. Что такое, друзья мои? Может быть, пусто в небе, может быть, там ничего нет?

И все засмеялись шутке Таяна.

— Я ходил на зверя с ножом и копьем и бил зверя. Может быть, труслив стал зверь? Нет, это Таян стал мудрым мудростью русских людей и храбрым храбростью человека и мужчины. И я узнал тогда, что такое мир и как живут в нем люди и звери. И я постиг мудрость машины и хитрость грамоты, и арифметику, и даже выучил дроби, а это нелегкая штука. А сестра моя стала радисткой, и радисткой стала жена. И узнал тогда Таян правду жизни и сам стал большевиком. Сочувствующим в партию приняли меня, потому что я сочувствую большевистской правде, — она единственная, правда, на земле. Пусть кто-нибудь из вас скажет, что это не так.

— Так, — закричали эскимосы. — Это так, Таян!

— Это так! — с силой сказал Таян. — Это так. Мы узнали эту правду, здесь, на далеком острове в море, где зимою долгая ночь, а летом — долгий день. И мы будем жить, и умирать за эту правду. Это так! И я поднимаю свою кружку с вином за эту правду и за мудрого человека, которого мы называем Сталиным. За здоровье Сталина!

И все встали из-за стола и подняли кружки. Заиграли, оркестры: духовой, симфонический, джаз. Охотники схватили ружья, вышли на берег и, повернувшись лицом к морю, салютовали дружными залпами далекой родине и Сталину.

А когда праздник кончился и гости разъехались, Таян пошел по берегу. И была у него теперь новая походка, и глаз стал другим — хозяйским. Это шел по острову начальник фактории, заместитель начальника острова. Он увидел, что туша моржа плохо привязана к камню на берегу и ее может смыть волной. Он подумал, что время начинать осенний промысел и надо выходить в море. Он прикидывал в уме, что еще надо сделать: «Готовы ли моторки? Целы ли байдарки? Кого из охотников и куда поставить?» У него теперь было много

забот. И главной из них была: сумеет ли он быть начальником над своими товарищами, будут ли они слушаться его?

Он увидел охотника и сказал ему, что моржа с берега надо убрать. Это впервые в жизни отдал он распоряжение. А через десять минут моржа уже убрали. А Таян все шел и шел по острову, на котором прожил десять лет, на котором нашел счастье и будущее. И походка у него была другая, и глаз другой. Это шел хозяин, начальник, умилек.

1938 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1.Роды на Огуречной Земле	3
2.Большая вода	18
3.Таян-начальник.	54

МАССОВА СЕРИЯ

Редактор *А. И. Воинов*

Технический редактор *А. Егоров*. Корректор *А. Иванова*

Сдано в набор 10/Х1-1947г. Подписано к печ. 7/Н-1948г. А00816. Печ. л.

5.

Учетно-авт. л. 3,95. Заказ № 7676.

Отпечатано в тип. М-143 с матриц 1-й Образцовой типографии треста
«Полиграфкнига» Огиза. Москва.